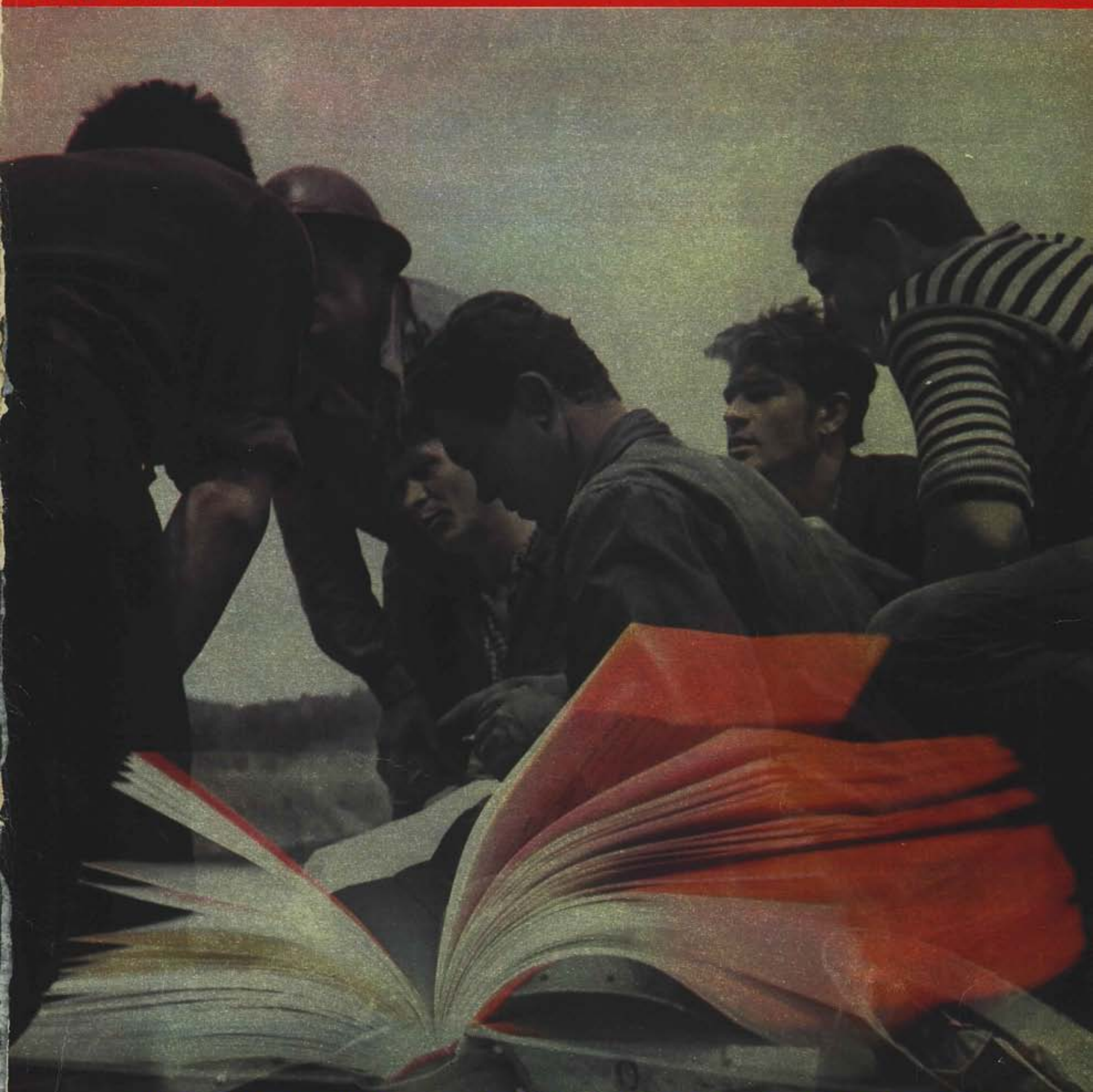




# СМЕНА

№ 12 июнь 1976

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА



**ПЯТИЛЕТКА, МОЛОДЕЖЬ, ПИСАТЕЛЬ**

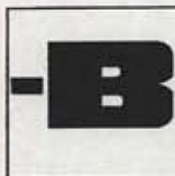
# ПЯТИЛЕТКА, МОЛОДЕЖЬ, ПИСАТЕЛЬ

Писательское внимание всегда было обращено к образу молодого человека — строителя и нефтяника, ученого и инженера, космонавта и солдата — героя наших дней. Пятилетка, молодежь, писатель — взаимосвязанные, взаимопроникающие понятия, которые отражают неразрывное единство политических, экономических, нравственных идей, воодушевляющих весь советский народ на великое дело — строительство коммунистического общества. «Пятилетка, молодежь, писатель» — эти слова стали девизом нынешнего номера «Смены», который посвящается VI съезду писателей СССР.

Член ЦК КПСС,  
первый секретарь  
правления  
Союза писателей СССР,  
Герой Социалистического  
Труда,  
лауреат Ленинской премии  
Георгий Мокеевич МАРКОВ  
отвечает на вопросы  
журнала «Смена»



Фото Николая КОЧНЕВА



Весь советский народ энергично трудится над претворением в жизнь решений XXV съезда партии. Десятая пятилетка, как и ее предшественница, стала кровным делом советских писателей. «Пятилетка, молодежь, писатель» — таков девиз этого номера «Смены», выпускаемого в канун VI съезда писателей СССР. Взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение этих общественных категории в единой, если можно так выразиться, службе партии, коммунизму — ваши размышления по этому поводу, Георгий Мокеевич?

— Давайте в таком случае мысленно вернемся к тем дням, когда проходил XXV съезд... Значение его для страны, для нашего народа поистине велико, и мы еще не раз будем к нему возвращаться, чтобы мно-

гое и прочувствовать заново и еще глубже осмыслить.

Пятилетка, которую мы завершили в прошлом году, оценивается съездом нашей партии как пятилетка наивысших достижений за всю историю развития Советского государства. Это была пятилетка укрепления экономической, оборонной и политической мощи страны. Мы теперь, оставив позади США, вышли на первое место в мире по добыче нефти, угля, руды, по производству стали, цемента, минеральных удобрений. Если хорошенько вдуматься, что за этим скрыто, увидим, что речь идет не только о количественных данных, что за этими достижениями стоят колоссальные качественные изменения — и в структуре нашей экономики и в психологии общества. Наш общий труд сделал нас не только более сильными и могучими — мы стали богаче духовно... Так есть:

скупые цифры наших отчетов реально воплощают в себе такие понятия, как светлое будущее, народное счастье.

Естественно, что наши достижения были бы немалыми без широкого участия молодежи с ее нерастроченной силой, с юношеским пылом, с тем самым огоньком, который и во времена моей молодости недаром называли комсомольским. Помните, что сказал в Отчетном докладе Леонид Ильич Брежнев? «Трудовая слава комсомола—это прочно завоеванная им позиция». Оценка по-отечески строгая и по-отечески добрая!

Литература и искусство получили на съезде тоже высокую, можно сказать, высшую оценку нашей партии—такой до сих пор мы еще не получали. Это значит, что от съезда к съезду, изживая недостатки, мы шли по верному пути... Однако не о заслугах нашей литературы хотелось бы сегодня поразмышлять—больше о задачах. Ныне самая главная из них—стать пламенными пропагандистами документов XXV съезда. Ведь никто так образно, как писатели, не сможет донести суть этих материалов до сознания широчайших масс, сделать так, чтобы они нашли отклик в каждой душе, в каждом сердце. И особая забота в связи с этим—о молодежи. Если бы каждый наш взрослеющий юноша, каждая девушка нашли в жизни то самое место—свое единственное, если бы каждый из них почувствовал себя обязательным, необходимым участником всенародного дела, тогда мы, писатели, с полным правом сказали бы: мы сделали все, что могли.

— Молодежь очень внимательно прислушивается к голосу любимых писателей. Николай Островский, к примеру, до сих пор ведет за собой новые и новые поколения комсомольцев. Он вечно живой комсорг. Какова, на ваш взгляд, роль писателя в мобилизации молодежи на новые трудовые свершения, какова его роль в новой, десятой пятилетке и в деле воспитания молодежи?

— Я думаю, что к имени Николая Островского с полным на то основанием можно было бы добавить и другие имена, другие книги... А «Молодая гвардия» Фадеева? А «Повесть о настоящем человеке» Полевого? Их влияние на молодежь трудно переоценить. И, когда вспоминаешь о них в этой связи, невольно задумываешься о той мере ответственности, которая лежит на сегодняшних авторах. Зреет сознание нашей молодежи, растут ее духовные запросы, расширяется кругозор... Всегда ли поспевает за этим процессом писательское перо? Не отстает ли? Сегодня, после XXV съезда, мы должны крепко, как никогда, над этим подумать. Потому что задачи наши велики. Здесь и воспитание любви к Родине прежде всего. И разговор о месте в общественной жизни, о том вкладе, который ты вносишь в общее дело—разговор столь же важный, как и первый, потому что какой же ты патриот, если бездельник?.. Проблема культуры нашей молодежи. Проблема этического и эстетического ее воспитания. Борьба с проявлениями «вещной» болезни, с проявлениями чуждых нам нравов. Все это наше кровное писательское дело, и диапазон его огромен—от митинговой громогласности до сердечного разговора вполголоса.

Недавно мы проводили расширенный секретариат правления Союза писателей по итогам партийного съезда, и там прозвучала такая мысль: есть сфера человеческой жизни, связанная с нравственными исканиями, которую нельзя или не стоит выносить на общее собрание, а можно и должно писателю разговаривать о ней с полной откровенностью со своим читателем, оставшись один на один, вечером, за книжкой... Нет дела важнее, чем вечерняя эта сокровенная беседа с читателем, и для писателя с именем и для молодого...

— Комсомол и писательскую организацию страны связывает давняя и прочная дружба. Каковы, по вашему, итоги этих товарищеских отношений? Каковы перспективы?

— Должен сказать, что дружба эта, по-моему, еще и очень плодотворна, и тут в самом деле наблюдается процесс и взаимного влияния и взаимного духовного обогащения. Побывав на БАМе, на КамАЗе, на других ударных стройках, писатели старшего поколения как бы молодеют. А молодые участники наших совместных совещаний и семинаров, хотелось бы думать, становятся и мудрей и хоть чуточку опытней... Это очень большая и важная тема—дружба писательской организации с комсомолом и молодежью. Всесоюзные совещания и зональные семинары. Совместные издания, такие, как многотомная библиотека «Молодая проза Сибири», а теперь еще и «Молодая проза Нечерноземья». А вспомните о поездках наших молодых писателей к Михаилу Александровичу Шолохову.

Должен сказать, что дружба эта приобретает масштаб и влияние международное. В скором времени мы должны совместно провести совещание моло-

дых писателей социалистических стран, а чуть позже—совещание молодых писателей Азии и Африки.

О том, что дает эта дружба молодежи, пусть скажут руководители нашего комсомола. А что касается нас, то что ж: комсомол очень крепко помогает нам растить достойную литературную смену.

— Безусловно, не все еще сделано в работе с молодыми, однако, пожалуй, можно заметить, что первые книжки, первые шаги начинающих окружены у нас серьезной заботой. Для начинающих проводятся совещания по зонам, всесоюзные, для них работают и семинары и проводятся многие другие мероприятия. И проблема первой книжки если не решена полностью, то, во всяком случае, успешно решается...

Но вот первые успехи позади. Теперь молодому писателю предстоит задача более трудная: утвердить себя в литературе, доказать и самому себе и всему, как говорится, миру, что первая его удача не случайна. Здесь поджидают его и разочарования и сомнения, и он как никто, может быть, другой нуждается и в ободряющем слове мастера и в пристальном внимании доброжелательной критики. Все это помогло бы молодому писателю лучше разобраться и в себе самом и в том, что выходит из-под его пера. Однако эти писатели—вчерашние молодые—зачастую лишены внимания... Есть словно какая-то зона, в которую попадает литератор, в силу возраста уже отошедший от начинающих, но еще не достигший творческой зрелости. Зону эту преодолевают не все, и в какой-то мере это естественно. Но, может быть, стоило бы подумать о форме работы с такими писателями—взять, предположим, да собрать участников IV совещания молодых литераторов, чтобы дать им возможность и поглядеть друг на друга, и поделиться наблюдениями, и подвести некоторый итог?

— Позволю себе снова вернуться к словам Леонида Ильича Брежнева, сказанным на XXV съезде. Помните? Талант—редкость, и талантливо произведение—это национальное достояние. Отсюда, видимо, и должны мы исходить. Если в самом деле подобное совещание—или другая какая форма, которую еще предстоит найти,—позволит вчерашним молодым обрести веру в себя, крепче стать на ноги,—нам стоит серьезно подумать над тем, чтобы провести такое совещание. Даже если конечным итогом его будет хотя бы одна по-настоящему хорошая книга—что ж, игра, как говорится, стоит свеч.

— Известна опасность ранней профессионализации, и работникам редакции это понятнее, чем многим другим. Бывает, присланная рукопись написана бойко, но автор не знает того, что мы называем окружающей реальностью, и сам он к тому же словно сторонний наблюдатель. И сейчас мы ждем, что доброжелательные слова, сказанные на съезде партии о производственной теме, вызовут к жизни новые произведения из самой рабочей гущи...

Бывает, однако, так, что человек, хорошо знающий и чувствующий производственную тему, далек от жизни литературной. Как помочь ему? На Высшие литературные курсы по самым разным причинам не все могут поступить. Может быть, имело бы смысл созывать иногда писателей, особенно периферийных, на какие-нибудь более краткосрочные курсы, чтобы они тоже могли и побеседовать с нашими ведущими мастерами и послушать хорошую лекцию о современном искусстве—просто подышать тем воздухом, которым время от времени необходимо дышать каждому, чтобы подзарядиться для дальнейшей плодотворной работы. Тогда мы сможем избежать другой опасности—опасности поздней профессионализации. Ведь, видимо, есть и такая опасность, ибо литература такой же сложный, требующий полной самоотдачи человеческих сил труд, как и все иные виды человеческой деятельности.

— Такую работу мы проводим, но стоит подумать о том, как ее улучшить. Давайте вместе с комсомолом, с нашими профсоюзными хорошенечко подумаем.

Недавно на одном из пленумов правления мы как раз затрагивали подобную тему. И, кроме всего прочего, речь шла о том, чтобы поощрять творческую смелость молодых. Есть такая форма, как издательский договор, есть общественные фонды, которые должны содействовать развитию писательской инициативы. Тут приходится спросить себя: а часто ли мы в этом смысле рискуем? Это действительно тот случай, когда можно сказать смело, что риск—благородное дело. Пусть мы в чем-то или в ком-то ошибемся, без этого, пожалуй, не бывает. И все же мы должны рисковать, должны воспитывать нашу молодую смену на волне творческой инициативы, творческой, я бы сказал, храбрости... Без этого мы не сделаем нашу молодую литературу по-настоящему интересной.

— Ваше творчество неразрывно связано с Сибирью, и можно предположить, что к молодым писателям-сибирякам вы относитесь с наибольшей интере-

сом. Несколько лет назад имена Валентина Распутина, Вячеслава Шугаева, Виктора Готанина, Гария Немченко, Аскольда Якубовского были открытием, а сегодня это зрелые, с уверенной рукой и своим почерком писатели, без которых трудно себе представить сегодняшнюю нашу прозу. Что нового, на ваш взгляд, принесли они в литературу? Что является определяющим не только в их творчестве, но и в творчестве тех молодых, кто идет вслед за ними и чьи имена узнали мы только сегодня? Чего, к примеру, недостает молодым писателям?

— В последнее время молодые писатели-сибиряки потеряли двух собратьев, которыми гордился не только я—гордился многие, гордилась, можно сказать, страна. Я имею в виду преждевременный уход из жизни Василия Шукшина и Александра Вампилова. Горькая утрата... Их любили друзья и товарищи, они останутся жить и в сердцах многих и, хочется думать, в творчестве... А досказать то, чего не успели они, по-моему, есть кому, и к тем именам, которые вы назвали, я бы добавил еще несколько: Владимира Колыхалова, Александра Плетнева, Евгения Гушина. Все вместе эти писатели принесли с собой в литературу пристальный интерес к обычному рядовому человеку, к непростой его душе, к сложному характеру... Всех их отличает глубокое знание народной жизни, и в этом их сила. Что касается слабости... В первую очередь я, пожалуй, назвал бы отсутствие дерзновенности. А кому же тогда и дерзать, если не сибирякам? И как раз сейчас, пока молоды, пока полны творческой энергии. Это во многом относится ко всей нашей молодой литературе. Мне кажется, она сейчас находится на подъеме. Многого мы вправе ожидать и от барнаульца Юрия Антропова и от архангелогородца Владимира Личутина, от других авторов, которые уже твердо заявили о себе как о самобытных писателях. Но при профессиональном умении, при честности в работе кой-кому из молодых не хватает большого даяния. Как следствие этого—не хватает масштабности. Я не многотомные эпопеи призываю писать, нет. Но пусть в рассказе или в маленькой повести речь будет идти о самом важном в нашем сегодняшнем дне, о самом главном в народной жизни.

— У каждого синяки и шишки, как говорится, свои, но, если бы вам пришлось дать общий совет молодым литераторам, о чем бы вы в первую очередь хотели сказать? От чего предостеречь?

— Вот об этом я точно знаю, от чего хотел бы предостеречь прежде всего. От самоуспокоенности! Ведь наше ремесло—вечный поиск. Поиск своей темы и своего голоса. Поиск творческой правды. Бесконечное постижение мастерства... А ведь есть среди молодых и такие, которые читают в основном только то, что сами напишут. Далеко ли можно при этом уйти?

И еще одно, о чем бы хотел тут сказать. Это моральный облик молодого писателя. Иногда приходится слышать что-то такое: молодому сам бог, как говорится, велел жить, не оглядываясь. Это потом уж, мол, перед инфарктами и мы станем трезвенниками и станем пай-мальчиками... А мне тут хочется вспомнить старую русскую пословицу насчет платья снова и чести—смолоду. Хочется напомнить о том, что литература, писательство—дело святое. И от того, кто им занимается, требует если не святости, то, уж во всяком случае, душевной чистоты и высокой нравственности. Глубоко убежден, что собственная жизнь писателя должна быть в ладу с проповедью добра на страницах его произведений, только тогда он может рассчитывать и на уважение и на любовь соотечественников. И если кто хочет сделать свою биографию более яркой, пусть знает, что для этого есть много достойных способов: дальнейшее путешествие, трудное дело, помощь ближнему, требующий гражданского мужества поступок. Этим в конце концов растет человек, это обогащает душу.

— Публицистику, очерк считают боевым оружием писателя—будь то прозаик, поэт, драматург или критик. Именно с помощью публицистики и очерка прокладываются торные тропы для будущих эпопей, романов, драм и поэм. Публицистика и очерк—это связь писателя с жизнью страны, та нить, порвав которую писатель рискует остаться без живительных соков... Что бы вы могли посоветовать молодым литераторам применительно к актуальным жанрам времени?

— Повышение общественной активности писателя мы считаем первоочередной задачей. И это неразрывно связано с повышением активности творческой. Многолетний опыт показывает, что эти явления неразделимы. И совет здесь может быть только один: смелее браться за очерк, за публицистику, помня, что это никоим образом не снизит уровень творчества, а лишь повысит его накал, его темперамент. Очерк и публицистика для писателя—это одна из самых действенных форм познания жизни.



Обложка работы  
Альберта ЛЕХМУСА и  
Василия МИШИНА.

**1** ПЯТИЛЕТКА, МОЛОДЕЖЬ, ПИСАТЕЛЬ.  
Член ЦК КПСС, первый секретарь правления  
Союза писателей СССР,  
Герой Социалистического Труда,  
лауреат Ленинской премии  
Георгий Мокеевич МАРКОВ  
отвечает на вопросы журнала «Смена».

**2** Размышления перед съездом писателей  
Сергея БАРУЗДИНА, Виталия КОРОТИЧА,  
Владимира ЦЫБИНА, Ануара АЛИМЖАНОВА,  
Чингиза АЙТМАТОВА, Нодара ДУМБАДЗЕ,  
Петра ПРОСКУРИНА, Юрия ЖУКОВА,  
Иманта ЗИЕДОНИСА, Юрия ЧЕРНИЧЕНКО,  
Юрия ГРИБОВА, Анатолия СОФРОНОВА,  
Одельши АГИШЕВА, Иона ДРУЦЭ.

**2** НОВОЕ ИМЯ.  
Стихи токаря Владимира ПОПОВА.

**4** «ИВАНОВСКИЕ МАДОННЫ».  
Фотоочерк Георгия БАЖЕНОВА  
и Владимира ЧЕЙШВИЛИ.

**9** Рассказ Александра ПРОХАНОВА «СОРОК СОРОКОВ».

**12** УРОКИ ЖИЗНИ.  
Диалог поэта Рюрика ИВНЕВА и доктора  
исторических наук Дмитрия ОЗНОБИШИНА.

**16** Альберт ЛИХАНОВ.  
«МОЛОДАЯ СИБИРЬ: ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРА».

**22** Документальная повесть Гария НЕМЧЕНКО  
«БЫЛО НА ЗАПСИБЕ...».

**24** Рассказ Александра ПЛЕТНЕВА «МОЛЧУН КОСОЖКИН».

**29** Александр НИЛИН.  
«ИСПЫТАНИЕ СОВРЕМЕННОСТЬЮ».

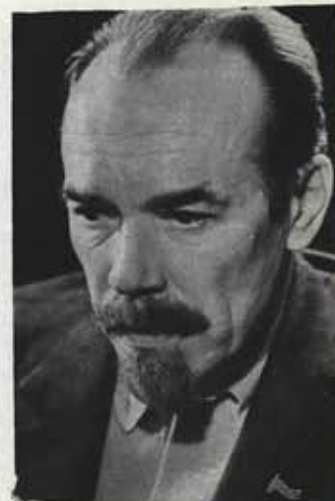
**31** Вениамин КАВЕРИН.  
«БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫТИЙ».

Главный редактор А. А. ЛИХАНОВ  
РЕДКОЛЛЕГИЯ: В. С. Абашин, А. П. Кулешов, В. В. Луцкий  
(заместитель главного редактора), В. Г. Победоносцев (от-  
ветственный секретарь), Р. И. Рождественский, Е. И. Рябчиков,  
В. А. Саюшев, Г. В. Семенов, А. П. Середа, Д. Н. Филиппов

Художник Г. С. Терзибашьянц. Технический редактор Л. И. Курлыкова.

## ПОЭЗИЯ

Сергей БАРУЗДИН,  
секретарь правления  
СП СССР  
главный редактор журнала  
«Дружба народов»,



Тема «Пятилетка, молодежь, писатель» беспредельна для размышления и о литературе и о жизни. Несомненно ее важность всегда и особенно сейчас, в преддверии VI съезда писателей СССР — первого большого творческого собрания после исторического XXV съезда КПСС, события значимого и для советского народа и для советской литературы.

Мы вступили в десятую пятилетку. Она знаменует собой новый этап в развитии нашей экономики, народного хозяйства, явится большим шагом вперед по пути продвижения нашей страны к коммунизму.

Какое место займет литература в жизни молодежи, а значит, и всего советского народа, — ведь юность неотъемлемая часть нашего общества, — крайне важно. Молодым жить и строить завтрашний день, и задача советского писателя — создать такие книги, которые бы стали надежным и верным спутником молодого человека и сегодня и в будущем.

Иногда у нас еще бытует несколько утилитарный подход к литературе. На читательских конференциях говорят: «Почему не пишете о нас, железнодорожниках?» (это в аудитории железнодорожников), «Напишите о нас, строителях!» (в аудитории строителей). И т. д. Можно подумать, что железнодорожники читают или должны читать книги только о людях своей профессии. Или в лучшем случае те, где есть тема «железной дороги». «Анна Каренина», например.

А что такое «тема молодых»? Это и учащиеся, и рабочие, и ученые, и крестьяне, и воины, и в жизни они не существуют изолированно, а рядом со старшими и

более младшими. Значит, и в литературе не могут существовать отдельно.

Важен круг чтения молодых. Молодой читатель сам или с помощью товарищей и старших отбирает в свой круг чтения все лучшее, что создано в отечественной и зарубежной литературе, в классической и современной. И тут особенно велика роль школы, библиотеки, родителей, старших товарищей. От их вкуса, от их умения тонко и ненавязчиво подсказать хорошую книгу во многом зависит круг чтения молодых. К сожалению, школа наша еще плохо прививает вкус к литературе, а иногда, наоборот, отбивает его всяческими схематическими препарированиями литературных произведений или беглыми казенными обзорами. О каких эмоциях тут говорить! Особенно не везет нашей поэзии, и классической и современной. В результате неуправляемый читательский вкус игнорирует подлинные поэтические ценности, отдавая дань двум-трем модным именам. А если говорить о современной прозе, то за пределами читательского внимания в юные годы остаются многие выдающиеся произведения нашей многонациональной советской литературы.

Вопрос о преподавании литературы в



Владимир ПОПОВ



Мне приятно представить читателям «Смены» стихи московского токаря Владимира Попова. Читатель легко убедится, что они свежи, нетривиальны. Современная форма у Владимира Попова наделена очень важным качеством — она одухотворена, она как бы наполнена нелегкой судьбой рабочего, моряка, солдата, плотогона. Мир людей, привлекающий внимание поэта, емкий, суров и прекрасен.

«Счастье — в труде» — эта мысль как бы пронизывает все творчество начинающего поэта и делает его стихи близкими любому читателю. В этом залог его будущих удач.

Владимир КОСТРОВ

школе (в широком понимании этого слова, ибо и ПТУ ныне — это школа) наиважней. Предстоит об этом большой разговор и на нашем VI писательском съезде...

Хорошая «взрослая» книга, прочитанная впервые в детстве, предполагает возвращение к ней на разных возрастных этапах. Я, к примеру, впервые прочитал «Войну и мир» в 14 лет, второй раз — в военном госпитале в 19 и вот в третий раз — совсем недавно. И каждое чтение это было открытием нового Толстого. Это я могу сказать и о многих других книгах, в том числе и современных. И, конечно, не только я.

Здесь есть повод для размышлений на тему, как «работать с книгой»...

Писать о молодых всегда было трудно. И тема преемственности поколений и вечная

тема «отцов и детей» — темы сложные. И по-хорошему завидую нашим современным писателям, которые не боятся этих тем. И уж если говорить о теме молодых в своем творчестве, то скажу, что, пожалуй, «Повторение пройденного», «Повести о женщинах», некоторые другие повести и стихи меня до сих пор не разочаровали. Об этом говорят и письма читателей. К ним из, казалось бы, сугубо «детских» я добавил бы «Рассказы о животных».

Что бы я хотел пожелать молодым? Хороших дел, продолжающих дела старших, и хороших книг!

Молодым литераторам — зрелости таланта! А значит, тоже хороших книг!

А нам, уже не совсем молодым? Пожалуй, молодости души!

Соизмерима ли наша литература с тем уровнем ответственности и государственности, которую несут в себе эти люди?

В Кривом Роге недавно пущена крупнейшая в мире домна, в Жданове вступил в строй знаменитый стан «3600». Все это объекты, соответствующие мировому уровню. И надо, чтобы молодой человек, возводящий подобные объекты, придя с работы, взял в руки книгу, которая бы помогала ему жить, думать и трудиться, а не читать повествования об инфантильных персонажах.

Я поэт. Пишу на вечные темы. Но я много езжу по стране, много накопилось впечатлений. Сейчас на моем рабочем столе — книга стихов и книга прозы. Обе они тесно привязаны к человеку, уже прочно

стоящему на ногах, нашедшему свое место в мире и самому изменяющему этот мир.

Совсем недавно в издательстве «Молодая гвардия» вышла моя новая книга стихов «Зеленый виноградник». Есть в ней поэма, посвященная комсомольцу 40-х годов, возглавившему большой колхоз.

Тема молодых для меня — это тема жизни. Мне хочется видеть юность более дерзкой, умеющей не соглашаться, спорить, активно и напористо вторгаться в жизнь и делать ее! А уж если ты дожил до 30 лет и ничего еще не понял, то вряд ли сможешь что-либо уже понять.

Взрослейте как можно раньше душой, это поможет вам легче преодолевать преграды, которых на жизненном пути встретится немало.

**Виталий КОРОТИЧ,**  
член правления СП  
Украинской ССР,  
лауреат премии комсомола  
Украины



Все решения исторического XXV съезда КПСС, по существу, адресованы молодым — и тем, кто сегодня в азарте юности и страстности порыва на передовой десятой пятилетки, и тем, кто, родившись в год съезда, вступит в новое, XXI столетие молодым человеком — ему будет 25 лет.

Прошедший съезд ленинской партии подтвердил всю реальность наших грандиозных планов, еще раз подчеркнул: у коммунистов никогда слово не расходится с делом. Изучая материалы съезда, я обратил внимание на истинно ленинскую деловитость и конкретность в подходе к планам новой пятилетки, названной пятилеткой качества и эффективности производства.

Десятая пятилетка — пятилетка наша личная, и мы должны ее выполнить, приложив все свои силы, умение, мастерство, талант. Мы должны каждодневно думать о своей роли в пятилетке, высчитывать, как на арифмометре, долю и степень своего участия в ней.

Небольшая узкоколейка, которую строил Николай Островский и его товарищи, вдохновенными строками легла в любимую не только молодежи, но и людьми всех поколений книгу «Как закалялась сталь». Думаю, что и строительство Байкало-Амурской магистрали, как и другие важные стройки пятилетки, породит не одно замечательное произведение.

Сегодня молодые творят мир со всей ответственностью, но, к сожалению, приходится признавать, что наша литература не отдает должного их труду и творчеству. А ведь если вспомнить произведения о войне, то семнадцатилетние — двадцатипятилетние там не просто главные герои, но прежде всего серьезные люди, до конца исполняющие свое ратное дело, воинский и человеческий долг.

Если взять книги нашего времени, то подчас не без труда обнаружишь, что герои их довольно постарели. В 20, 25, даже в 30 молодые люди все еще ищут себя.

Мне кажется, мы много говорим о созвучности эпохе. Это прекрасно. Но надо говорить и о своей соизмеримости с эпохой. Сейчас молодые — и главные конструкторы, и командиры строительства, инженеры, врачи, председатели колхозов.

**Владимир ЦЫБИН**



Молодость, старость... Что это такое? Ответить, казалось бы, просто: возрастные деления довольно четки.

Но не все заключено в возрасте. Вот в чем сложность. Разве стар был неистовый Пикассо? Был ли древним Лев Толстой? Состарился ли к своим восьмидесяти Гете?

И, что бы ни доказывали мне, я знаю: и Пикассо, и Гете, и Толстой молоды — вдохновением, озаренностью, горением.

И опять мне могут возразить: это великие имена и таланты. Да ведь суть-то в том, что молодость есть величина постоянная, вечная и что она не утрачивается никогда для тех, кто талантливо живет, то есть всегда ощущает новизну мира и красоту его, всякий раз вновь видит знакомых людей, восхищается и прекрасным цветом и по-своему прекрасным башенным крапом на строительстве жилого дома...

Как всякий человек, я, естественно, общаюсь с людьми самого разного возраста — и с молодыми: веду поэтический семинар дипломников в Литературном институте имени Горького, — и со своими сверстниками, конечно, и с людьми старше себя... Но ведь все они мои современники, и все мы живем нашим бурным, горячим временем, и потому мне просто не хочется делить их на молодых и старых. А ушедшие от нас Николай Рубцов, Василий Шукшин — ушли ли они? Нет. А при жизни живой принадлежали они и восьмидесятым годам, а может быть, и XXI веку...

Вот я общаюсь со своими студентами и

чувствую, вижу, что каждый человек выражает какую-то новую для меня грань действительности. Я ощущаю их поэтическое завтра, которое рождается на моих глазах, и в каждый момент этого взаимного нашего общения отдаю с искренностью все, чем владею сам. Участвую ли я в процессе становления их собственных характеров? Хочется думать — да...

Я часто бываю на заводах, в совхозах... Не так давно закончилась длительная моя поездка в Тюмень, на нефтетрассу, и везде нас, писателей, окружала молодежь — спорилась, требовала четких и не «общих» ответов на отнюдь не простые вопросы. Интересно говорить с такими ребятами: сам становишься богаче. И мне хочется напоследок сказать молодым: «Будьте всегда, до самого последнего часа, молодыми».



И налетела эта птичья рать  
На хрупкой грани марта и апреля.  
Внезапно зимняя закончилась тетрадь —  
Случайно как-то, посреди недели.

Везде стояла талая вода,  
Солоновато-горькая немного.  
Ночная, первозданная вода  
У полусонного порога.

Во влажной и обугленной ночи  
Летели с крыш тяжелые капли —  
На хрупкой грани марта и апреля.

Вовсю кричали черные грачи.  
Я их мотив старался разобрать  
На грани зла и вечного добра.

## Сиренево

Сиренево —  
деревня называется.  
За окнами сиренево  
рассветы начинаются.  
Сиреневые тени  
в сиренево саду.  
И ивы по колени  
в сиренево пруду.  
Сирень неистребима!  
Течет Сирень-река.  
Сиреневые дымы  
уносят облака.  
И светленькая Светочка —  
улыбка на лице,  
сиреневою веточкой  
на утреннем крыльце.



Ночь осенняя. Избушка.  
Месяц молодой.  
Листья падают в кадушку  
с дождевой водой.  
Ветер кроны беспокоит.  
Словно человек,



Шел белый снег, настолько белый,  
что мне казалось — город белый.  
И мне казалось — голубь белый  
ко мне садится на плечо.  
Я прогонял его перчаткой.  
Но это в общем бесполезно:  
ему все было нипочем.  
Весь день на палубе железной,  
на раскаленной и железной,  
как тело черной сковородки,  
июльской жаркою порой  
таскаем трал на Джорджес-банке  
И пахнет гарью от лебедки.  
Гудят натянутые тросы,  
гудят, как вспугнутые осы.  
И я подумал: оборвутся!  
Тогда они меня погубят,  
наполюют меня разрубят,  
и не успеешь оглянуться...  
Как стрелка на весах, качался  
какой-то небоскреб Бостона  
совсем-совсем у горизонта.  
И я некстати размечтался.  
И захотелось мне до стона,  
чтоб выпал снег, холодный, белый,  
и показался город белый.



шорох тонкою рукою  
шарит по траве.  
Ветки тянутся к губам,  
шелестят под ветром.  
Пахнет утренний туман  
молоком и хлебом.

Уходил я из дома надолго  
к загадочному старому другу.  
За Москву, за туманы, за Волгу,  
далеко — к заполярному кругу.  
И морозные ветки в берем  
собирали для простых очагов.  
Это было прекрасное время  
удивительно белых снегов.

Это было такое везенье!  
Было время такой доброты!  
Я водил по холодной Мезени  
золотые большие плоты.  
Я встречал по утрам теплоходы.  
Трогал песен шальные лады.  
Это были хорошие годы  
удивительно светлой воды.

Я когда-нибудь прыгну в кабину  
посреди суматошного дня.  
И мой друг, бородастый детина,  
ни за что не узнает меня.  
Нет — узнает. Раскатистым смехом  
он отпустит меня много грехов  
и засыплет меня белым снегом  
удивительно светлых стихов.

## Картошка

Когда поработаешь  
на комбайне,  
лицо становится серым,  
как земля,  
и на зубах хрустит песок.  
Когда отработаешь день  
на сортировке,  
руки становятся тяжелыми,  
как кувалды.  
Когда побросаешь в вагоны  
пузатые мешки с картошкой,  
каждая мышца —  
как пружина в теле...

Стою в очереди  
в овощную палатку,  
спокойный, как человек,  
который знает  
некую тайну.



По дороге до деревни  
пахнет мокрыми деревьями.  
Воздух приторный на вкус  
и прохладный, как арбуз.

Стало ветрено. И поздно...  
Птица — камнем в темноту.  
И качается береза,  
как лампада на ветру.

Огонек от электрички —  
как оборванный мотив.  
Точно кто-то чиркнул спичкой,  
погасил, не прикурив.

# ИВАНОВСКИЕ МАДЛО

Георгий Баженов — выпускник Литературного института имени Горького, ученик известного советского писателя Сергея Залыгина, участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей. В 1975 году у Баженова вышла первая книга повестей и рассказов «Время твоей жизни». С повестями, рассказами, очерками Баженов выступал также в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Смена», «Советская литература на иностранных языках», «Сельская молодежь», в еженедельниках «Литературная Россия» и «Неделя».

## ВМЕСТО ПРОЛОГА

«...От села Кохмы в полночь, расстоянием верст восемь, есть село Иваново Черкасских князей, а ныне за графом Шереметевым. Село селением велико и пространно и строением богато. Хотя и деревянные дома, но весьма изрядных много. Обыватели больше торговые, а пахотных малое число... В том селе Иваново у обывателей имеются фабрики полотняные, на которых штуки разные ткнут: канифасы, салфетки и прочие тем подобные, и не токмо на фабриках, но и кроме их полотна знатные состроят и белят, которые полотна и в других местах честь имеют, и множество тех полотен отвозят торговые по разным сторонам».

АНАНИЙ ФЕДОРОВ. «Описание города Суждаля», середина XVIII века.



«Село Иваново... весьма значительно по своей промышленности, которая превосходит своей торговлей и рукоделиями не только все города сей губернии, но и может сравниться с знатнейшими городами, каковы есть Ярославль и Калуга...»

«Статистическое обозрение состояния Владимирской губернии», 1817 год.

«Я спросил одного фабриканта, что за люди впоследствии выходят из всех этих мальчуганов, работающих при сушильных барабанах, в зрельных и на вешалах. Он, немного подумав, дал мне такой ответ:

— Бог знает, куда они у нас деваются, мы уже как-то их не видим после.

— Как не видите?!

— Да так, высыхают они.

Я принял это выражение за чистую метафору.

— Вы хотите сказать, что впоследствии они переменят род своих занятий или перейдут на другую фабрику?—опять спрашиваю.

— Нет, просто высыхают, совсем высыхают!—отвечал серьезно фабрикант».

ФИЛИПП НЕФЕДОВ, уроженец села Иваново. «Наши фабрики и заводы», 1872 год.

«...А солнце сияет, сжигает огнем своих лучей... Да-да, все, как в песне: наш путеводный гимн, самая дорогая,

заветная песня, которую пели в подполье рабы, за которую гнали, ссылали, расстреливали, вешали, истязали по тюрьмам,—может ли ошибаться эта песня, испоенная кровью мучеников?.. Пришли наши дни—их мы ждали. Здравствуй, новая жизнь!..»

ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ.  
«Октябрьские дни в Иваново-Вознесенске».



Музей трудовой славы Ивановского камвольного комбината имени В. И. Ленина — кладь новаторского опыта и традиций текстильного края.

«Это она, Алевтина Смирнова, передовик Яковлевского льнокомбината, Герой Социалистического Труда, делегат двух партийных съездов, всколыхнула молодых ткачих страны почином: «Десять годовых заданий — за десятую пятилетку!»

Комсомольский актив Фурмановской прядильно-ткацкой фабрики № 1 обсуждает решения XXV съезда партии.

«У меня сегодня был тов. Королев из Иваново-Вознесенска, из нашей наиболее промышленной, пролетарской губернии. Он привел цифры и факты. В первый год работало не больше шести фабрик и ни одна не работала сплошь даже месяц. Это была полная остановка промышленности. За этот же минувший год первый раз пущены двадцать две фабрики, которые работали без перерыва по несколько месяцев, некоторые по полгода...»

В. И. ЛЕНИН, 1920 год.

«Товарищ Виноградова! Ваша работа на 70 ткацких станках и выполнение Вами программы из месяца в месяц на 102—103 процента... показывает, какие огромные резервы имеют текстильные фабрики для поднятия производительности труда. Я надеюсь, товарищ Виноградова, что Вы сумеете передать свой опыт другим ткачам,



научите их работать так, как работаете Вы. Желаю успеха и надеюсь, что, совершенствуя свои методы работы, Вы в недалеком будущем добьетесь мирового рекорда обслуживания ткацких автоматических станков».

*Из письма наркома легкой промышленности И. ЛЮБИМОВА Дусе ВИНОГРАДОВОЙ, зачинательнице стхановского движения в текстильном производстве. Сентябрь 1935 года.*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЕСТЬ МИРОВОЙ РЕКОРД!

— А что, Ивановна, небось, устала, лопатой-то махамши?

— Устала, бабоньки... Так на то и субботник, чтобы наработаться всласть.

— Поди, поди, отдыхай... Неуж не пробрало за жизнь, вон повсюду гуд идет—стахановка да стахановка. Аль не хватило?

— И то... Голова чего-то разболелась. Пойду...—Татьяна Ивановна поправила на голове платок, виновато улыбнулась: хворь, что ли, какая-то одолевает, да и в сам-деле руки не те, не та в них сила...

Поигрывает солнце на опавшем снегу, бегут по замутненным дорогам вешние воды... Опустошенная и тихая сладость на душе: где ни хорошо, а дома теперь все равно лучше. Старость, старость...



Сосед встречает ее настороженно-торжественным подмигом:

— Слышь, Ивановна, а тебя тут гости заждались...

— Какие гости?

— А вон...

Сорок с лишним лет прошло с начала знаменитого виноградовского движения в текстиле. И вот мы в гостях у главной соперницы Дуси и Маруси Виноградовых — Татьяны Ивановны Одинцовой, или попросту Таси Одинцовой, как называли ее в ту пору, — не Тая, а именно Тася.

— Да, да, хорошо все помню... Какое было время! — Светло-серые, в голубизну глаза Татьяны Ивановны наливаются глубоким внутренним блеском, улыбка, мягкая, с грустным и одновременно упрямым задором, разглаживает морщины на лице. Во всем ее облике появилось что-то до щемящей боли знакомое — свет неизбывной любви к тому, что некогда заполняло душу и сердце, — такое приходится видеть на лицах загрустивших матерей; оттого так тревожна и хороша для нас ее улыбка, магнетически вызывающая образ собственной матери: материнские сердца отдают нам все, но всегда ли воздается им по заслугам?

— Ах, я тогда была молода... и как молода, представить теперь трудно... Дуся и Маруся Виноградовы работали рядом, в Вичуге. Вичуга — это и есть родина виноградовского движения. А по правде говоря, надо бы называть виноградовско-одинцовское движение...

— Как так?! — поражаемся мы. — Ведь всему миру известно: Виноградовы первыми встали на семьдесят станков. А потом и...

— Первыми-то первыми... А кто подначивал их? То-то... Не будь у них соперниц, может, и не слышать бы вообще о стахановках в текстиле...

Глаза у Татьяны Ивановны разгораются веселым и страстным огнем, щеки подергиваются пунцовым налетом совсем молодой горячности. Э-э... вон оно что! Оказывается, Татьяна Ивановна и поныне живет страстями и бурями своей молодости, сегодняшняя жизнь для нее — продолжение того неумного, горячего спора, которым были охвачены молодые ткачихи тридцатых годов.

— Я, когда узнала, что Дуся с Марусей на семьдесят станков встали, думаю: а я чем хуже?! Да и время какое было: Алексей Стаханов 17 норм выдал на-гора! Кипело все вокруг... Звонно Виноградовым, так и так, вызываю на соревнование, встаю на 96 станков... Ну, а Дуся-то, — Татьяна Ивановна очарованно улыбаясь, — ой, девочка горячая была... Как, говорит, на 96! Не может быть... Ну, а раз так, мы с Марусей на 100 станков встаем! И пошло... Я через месяц на 132 встала вместе со своей смешицей Ирой Лапшиной. Виноградовы узнали — через день на 140 встают. Тогда мы с Ирой еще прибавили, а через день слышим: Виноградовы на 144 станках работают! Вот такое было время... — рассмеялась Татьяна Ивановна. — Не хотели уступать друг другу. Ну, и тут как раз нас вызвали в Москву, на совещание стахановцев...

#### ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Из выступлений Виноградовых на Всесоюзном совещании стахановцев 14 ноября 1935 года.

#### ДУСЯ ВИНОГРАДОВА:

— Товарищи, я расскажу, как работаем мы, стахановцы текстиля. Наша задача заключается в том, чтобы хорошо знать технику, изучить станок и, самое главное, любить работу, дружить со смешицей. Затем вопрос о маршруте. Раньше у нас было по 16—26 станков, и мы бегали от одного к другому, сутились. Сейчас я работаю на 144 станках. Мы обслуживаем их по твердому маршруту. В первый

день, работая на 144 станках, мы выработали 1492 метра в смену, во второй день — 1502 метра и в третий день — 1512 метров. Нас три смешицы, и каждая дает такое количество продукции в смену. Смотрите, сколько мы стали выработывать!

Как мы передавали опыт рабочим своей фабрики? Мы собирали производственные совещания, устраивали районные слеты. Моей последовательницей на комбинате «Большевик» является Тася Одинцова. За ней подтянутся и остальные работницы.

В настоящее время вся наша фабрика перешла на уплотненную работу. По нормам полагается обслуживать сорок станков, а мы работаем на 42, 74, 104, 144 и 148. И это не считаем пределом. Через месяц и перейду на 150 станков и дам продукцию высокого качества, без брака, дам лучшую в мире ткань.

#### МАРУСЯ ВИНОГРАДОВА:

— Товарищи! Скажу коротко, как мы добились таких результатов. Мы взяли большее количество станков, улучшили метод работы, мы стали ходить по маршруту, а раньше у нас этого не было, раньше мы бегали от станка к станку. Мы ходим по своему маршруту, смотрим, что делается с основами, смотрим на колодки. И если оборвалась нитка, мы быстро ее навязываем. На подвязку нитки нам полагается четыре секунды, мы навязываем ее в две секунды.

Когда мы решили перейти на сто станков, то пошли к заведующему. Он хотел нам дать сначала 94 станка. Мы с Дусей договорились, стали настраивать на ста станках. Он, конечно, нам дал. Это был для нас счастливый день.

А потом мы услышали, что некоторые ткачихи берут сто сорок станков. Мы решили взять 144. Но у нас четырех станков не хватало. Мы пошли к заведующему, стали настаивать, чтобы он дал нам еще четыре станка. Нам руководители говорили: «Где же взять четыре станка, откуда?» Мы все же требовали эти четыре станка и добились своего. И вот мы теперь работаем на 144 станках, работаем хорошо, и остаемся достаточно свободного времени.

Если найдутся работницы, которые будут брать 144 станка, то мы обязательно перейдем на 150. Если кто-либо заявит, что переходит на сто пятьдесят, то мы возьмем 200. Мы свой рекорд никому не отдадим!

— Я на совещании не должна была выступать, — все с той же хитрецей в улыбке продолжает рассказывать Татьяна Ивановна, — и вдруг встает Орджоникидзе, объявляет: «Слово имеет Тася Одинцова, соперница Дуси Виноградовой...» Меня будто ушатом холодной воды окатили — оледенела вся, а потом сразу в жар бросило. Уж не знаю, кто и удрился... — Умные, увлажненные воспоминаниями глаза Татьяны Ивановны искрятся чертиками-блестинками. — Да делать нечего, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Вышла на трибуну, стала рассказывать, как мы с Лапшиной работаем. А под конец будто кто подтолкнул меня: если, мол, поднажмем, то для нас и 150 не предел... Вдруг слышу — хрипловатый голос Сталина с веселой такой подначинкой обращается прямо в зал: «Дуся, смотри, обгоняют...» Ну, а Дуся была... ой, Дуся! Соскочила со своего места и кричит мне в азарте на весь зал:

— Ты на сколько станков переходишь?

— На 156! — отвечаю, а у самой руки от волнения дрожат.

— Ах, так... Ну, а мы с Марусей 208 возьмем!

По залу волна за волной прошел веселый, одобрителный гул.

...Вернулся домой — надо слово держать. Вышла я в ночную смену да

встала не на 156, а на 216 станков. Что было!.. Народу набилось в цехе — не прохожешь. Греха таить нечего: многие не верили, что справлюсь. Ну, а утром я рапорт в ЦК отправила — слово свое сдержала! И Виноградовы тоже на 216 стали работать. А позже, когда мы на каникулы из Промышленной академии приезжали, Дуся с Марусей до 284 станков увеличили обслуживание. Это был мировой рекорд!

В декабре 1935 года вышел Указ: впервые в текстиле наградили самой высокой наградой — орденом Ленина — четырех ткачих: нас с Лапшиной и Дусю с Марусей. Вот так все это и было, так происходило...

#### ГЛАВА ВТОРАЯ. ВОЛШЕБНАЯ НИТЬ АРИАДНЫ

Нет, не спалось... Алла ворочалась с боку на бок, глубоко и протяжно вздыхала, обмирая при одной только мысли, что больше уже ничего не будет.

— Ну, чего ты? — пробурчал сквозь сон муж. — Спи давай, слышь, Алла...

— К Валерию схожу...

— Только и время сейчас!

— Пойду. Скажу ему, как же так... Может, подскажет что? Все-таки брат твой...

Муж в отчаянии махнул рукой. Алла поднялась с постели, оделась и вышла в ночь.

Мерцала на небе Венера, легкий свет ее как будто успокаивал, вселял надежду...

Валерий встретил с улыбкой:

— До сих пор не можешь прийти в себя?

— Слушай, а если я не выйду? — Она смотрела на него серьезно, с тяжелой тоской в глазах.

Валерий поначалу с некоторой оторопью, а потом весело рассмеялся:

— Сколько лет работаю главконормистом на фабрике, а такое впервые слышу. Ты что, Аль, а?

— Я серьезно.

— Н-нет, не бывало еще такого... Будешь первой, учти! А ведь ты у нас все же депутат Верховного Совета республики, Герой Социалистического Труда...

— Я ткачиха, потому и депутат и герой... А вы вон меня куда!..

— Ничего, старушка-бабушка, придется привыкать к новым обязанностям. На то и жизнь наша, чтобы ее вот так вот, во! — Валерий зажал кулак. — Обуздывать ее надо, жизнь...

Наутро Алла все же не совладала с собой: шагали ноги в одну сторону, а привели в другую.

— Не вышла? — нахмурился директор фабрики.

— В цех своей пришла. Там она, — доложили директору.

— Ладно. Пускай попрощается... Дело-то человеческое, понятное... Рыбин мог сказать такое только сейчас, в отсутствие Мелентьевой. А скажи ей самой — быстро сядут сивке-бурке на загравку. Понятливость да душевность не всегда показывать надо...

Ну, вот и цех... Прощай, гудящий, стозвоновый, пропахший маслом, пружей и тканью! Прощай, родной! Прощайте, юность и молодость!

— Сама сегодня пороботаю... На прощание, — улыбаясь она виноватой улыбкой. Больно было подругам смотреть в ее ослепящие глубокой грустью глаза: словно не глаза это были, а сама человеческая душа.

Легким нажатием оттянула пусковую ручку... Станок задрожал, загрохотал: забился меж нитями многотруженик-челнок, несущий утонкую нить... Что и проще, кажется, ткацкого ремесла? Вот здесь бегут продольные нити, а вот здесь мечется челнок с поперечными нитями. Слово перекрестие судьбы. Нить на нить, нить за нитью — ткется полотно, ткется судьба...

Что в ней было? Было голодное детство, была война. И было сиротство: отца убили фашисты, и мать не выдержала, надломилась в ней что-то, оставила плакать по себе пятерых ребят... Запомнилось: старшая сестра Фая ведет их дальней-дальней дорогой куда-то, куда-то... Над вокзалом в Фурманове плыла солдатская, гневом разная песня: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Потом шли в Вичугу, и уж много позже судьба забросила их в Лухский детдом. Врезалось в память: пришли — и вдруг звуки горна: «Бери ложку, бери хлеб и садись за обед...» В горле ком застрял — изголодались, измучились...

Алла включает станок за станком; мирно, тихо поет нить, погромыхивает погонялка, мелькает челнок, постукивает в извечном своем ритме бердо... Обыкновенная работа, но вот поди ее отвори от сердца, свою судьбу... Больно сердцу, больно, что и говорить... Совсем глупой девчонкой пришла из детдома в ФЗУ — при Вичугской фабрики Ногина. Ничего не понимала. Всего боялась. И вспоминать теперь даже страшно... А ФЗУ это и теперь живет-здравствует. Только называется уже Вичугское ГПТУ № 12 имени Евдокии Виноградовой. Имени Дуси Виноградовой. Когда-то и сама Дуся здесь училась. А потом училась и она, Алла Мелентьева. Вот так бывает, вот такая цепочка. Но бывает и более удивительное. И Дуся и Маруся Виноградовы — устойчивое героическое прошлое трудовой Вичуги, и можно ли было мечтать, чтобы Маруся, Мария Ивановна Виноградова — поныне здравствующая, веселая, добрая, простая — стала ей едва ли не второй матерью? Трудно в это поверить. А ведь это правда: когда бы ни приезжала Мария Ивановна из Москвы в родную Вичугу, первым делом: «Как тут моя Аллочка?»

Будет, будет время... пожалуется еще Алла на свою судьбу Марии Виноградовой. Пышной зеленью закипают сады и леса в фабричном пионерском лагере Быстри. Нежно поют на вечернем закате порхающие пахи. Гаснут звуки. Широкое окно просторно распахану в сад. Пи-ли, пи-ли, фь-ить... ить-ить-ить... пи-ли, пи-ли, фь-оть... оть-оть-оть...

— Как же быть, Мария Ивановна? Не могу я из ткачих уйти, не могу без станков своих... И потом: ну какой из меня заместитель директора?

— Алло-очка-а... — нежно протянет Мария Ивановна и, не оборачиваясь от окна, положит руку на Аллино плечо. — Думаешь, мне легко было? Тоже ткачихой хотелось, но надо было учиться, и мы учились. Мне вон до зам. директора НИИ пришлось добтаться.

Вот как. Наша нить волшебная... — Какая нить?

— Слышала про нить Ариадны? Был такой миф... Ариадна спасла любимого, потому что дала ему в руки путеводную нить. Как бы трудно ни было, нить всегда выводила на верную дорогу. Вот и у нас такая нить...

— Что-то не пойму...

— Сейчас поймешь... Я вот много в жизни прожила, много передумала... И знаешь, что мне пришлось в голову?

Мария Ивановна обернулась к Алле, улыбаясь.

— Пришло мне в голову, что нигде, наверное, ни в одной промышленности невозможно это: чтобы сразу из рабочего в директора или в заместителя. Вот что...

— Мне от этого не легче.

— Нет, должно быть легче. Потому что ткачиха, значит, это особая статья. И нить у нее особая — волшебная...

...Да, прощается Алла Мелентьева с ткацким цехом, прощается. От одного станка переходит к другому, здесь оборвалась нить — надвывает, здесь вдрут глазок сломался — приходится сменить ремизки, а здесь готов товарный валик — надо поскорей снять на-



рабочую ткань. Что ни говори, но теперь уж хорошо: под руками станок-автомат, не надо без конца менять в челноке початок с нитью. Крутится и крутится сам по себе барабан, а в нем заряжены шпули с точной нитью. Замена в челноке — автоматически. А давно ли, кажется, работала на механических станках... До 1967 года. Не та была работа, не та производительность. Но и когда поставили АТ-100-5М, дело оказалось не из легких. Пока освоила станки да достигла проектных мощностей, семь потов сошло, восьмой был на подходе... Да еще в вечернем техникуме надумала учиться. Забот хватало. Но...

Но говорят: плоха идея, которая не рождается дважды. Уж и непонятно, почему так получалось, но все время в голове мысль билась: ну вот хорошо, были когда-то Виноградовы, ведь такие, как мы... а нам разве нельзя? Начинала она уплотнение робко, станок был сложный, к тому же артикул ткани трудоемкий. Сначала на 12 станках стояла, потом на 18 перешла, потом и на 24 замахнулась. А в 1971 году взяла сразу 30 станков! Вот тогда и началось в Вичуге второе дыхание виноградовского движения. Движение сразу подхватили. Тут, конечно, и комсомол сказал свое слово: учредил среди комсомольских групп переходящий кубок имени Виноградовых. А по всей Ивановской области закипело всеобщее соревнование ткачих за звание «Лауреат премии имени Виноградовых».

Гудят станки, медленно вращается основа, бесконечно струятся и текут серебряные нити... Сколько раз, бывало, приезжала в Вичугу Мария Виноградова: «Аллочка, ты наше с Дусей знамя подхватила. Так что смотри. Смотри не подкачай...» Вспомнилось, как сидели однажды с Марией Ивановной и просматривали в кругу подруг старую хронику — рекорд Дуси и Маруси Виноградовых.

— Маруся, слышь, — вдруг всохотнул веселый голос, — а гребень-то у тебя, смотри-ка...  
— Чего такое? — не поняла Мария Виноградова.

— Гребень-то наполовину без зубьев!

Никто и верить не хочет. Как так?! Прокрутили пленку назад. Пустили заново. Смотрят — правда: половина зубьев на гребенке не хватает. Ну, смеху было!

— Вот так и работали, — смеялась громче всех сама Мария Ивановна, — не думали ни о чем, знай работали! А вы? Гребенку-то заметили, а вот поглядим, какие вы на деле. В чем ваша сила?

Так в чем ее, Аллы Мелентьевой, сила? Только ли в том, что первоклассная ткачиха? Или...

Прощай, ткацкий цех! Прощай, милый, стозвонный, родной!

...Наутро Мелентьева вышла на работу заместителем директора прядильно-ткацкой фабрики имени Ногина.

Что врезалось в память в первые дни?

Ночь. Телефонный звонок. Голос рабочего:

— Спишь, заместитель?

— Сплю.

— А у нас, между прочим, плюс пять в квартире.

Вот это и есть главное: не только станки, не только метры, не только рекорды, но — люди. Люди — главное. И теперь в ответе за их благополучие — ты.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВИНОГРАДОВСКИМ МАРШРУТОМ

Эта мысль не дает ей покоя. До того тревожит душу, что даже сны чудные снятся. Будто сидит она на берегу реки в родном Емелькине и разговаривает сама с собой. «Даша, — говорит

она, — ты не бойся, бери на себя эти 150 станков. Все-все у тебя получится». «Тебе хорошо, ты только рассуждаешь, а попробуй возьми, когда не дают...» «А ты убеди начальство, — советует Даша, — приди и разложи им все по полочкам... Ты ведь работала уже на ста пятидесяти?» «Работала. Зоя Коновалова тогда уехала на съезд, и мы с тетей Таней Владимировой поделили ее станки. Тетя Таня меня понимает...» «Знаю, знаю... С ней бы у тебя все получилось. Обязательно...»

Перед входом на их участок висит мемориальная доска:

«ЗДЕСЬ РАБОТАЛИ  
ИНИЦИАТОРЫ СТАХАНОВСКОГО  
ДВИЖЕНИЯ  
В ТЕКСТИЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ЕВДОКИЯ И МАРИЯ  
ВИНОГРАДОВЫ».

Именно здесь. Именно во 2-м цехе фабрики Ногина. Именно на этих станках. Баснословно...

— Кто такие Мария и Евдокия Виноградовы?

— Не знаю...

Вот так пришлось ответить, когда Даша только приехала в Вичугу учиться.

... — А ты бы разбудила ее! — расстроено хмурятся в комитете комсомола.

— Не встает. Говорит, ну, ее, эту школу... Работать приехала — не учиться алгебре.

— Вот! Работать! Ну, послушай, Зоя, вы же подруги! Ну ты-то понимаешь, разве так можно в наше время? Учиться надо, десять классов кончать!

— Понимаю, конечно. Ладно, пойду будить ее...

Привезла Дашу Андрееву в Вичугу старшая сестра. «Не я твоя мать, — приговаривала она, — а то б я тебе вместо Вичуги ремня хорошему всыпала...» «А я хочу ткачихой! И буду все равно... вот так!»

— Это вы Даша Андреева?

— Да, я.

— Вы не прошли по здоровью. К сожалению...

Слез было две реки: одна высыхает, другая ручьем бьет. Но ведь добилась своего, настояла: через день снова осмотрели врачи. Вроде все нормально. Так сказать, общая кон-сис-тенция хрупковата...

А ГПТУ какое? А ГПТУ, в котором училась когда-то Евдокия Виноградова.

Кто такие Дуся и Маруся Виноградовы?

Теперь она не ошибется. И не скажет, будто они сестры. Нет, не сестры, просто однофамильцы. Удивительная история. Удивительны ее совпадения...

Но самое удивительное все-таки то, что после профтехучилища Даша с Зоей пришли в тот самый цех, где когда-то устанавливали свои мировые рекорды молодые вичугские ткачихи тридцатых годов — Виноградовы.

Разве не удивительно?

Сама история, казалось, толкала комсомольцев семидесятых на подвиг. И подвиг пришел. Вместе со вторым дыханием виноградовского движения...

...49 «Нортропов» послушно отбивают рабочий ритм. Накручивается на вал готовое суровье. Спокойно ходишь между станками. То пройдешь по основам, то по полотнам, а то пройдешь сторожевым обходом. Есть, есть секунды, есть резервы времени... А что, если попробовать повышенное уплотнение? Скажем, увеличить на 10, нет, на 20 станков... захватить вон те, потом вон те... та-ак... хорошо... можно, пожалуй, и вон те, крайние, тоже прихватить... Сколько получается? 75! А как с маршрутом? Какой маршрут выбрать? Виноградовский? Да, только он годится, когда такое количество станков. Нужен строгий, предельно точный и отработанный маршрут — сначала только по полотнам и

только вперед, не оглядываться, не возвращаться, потом по основам и тоже только быстро вперед, возвращаться к остановившимся станкам нельзя, сразу сбой рабочего ритма, сбой маршрута. Мысль захватила сердце. А что скажет хронометраж? Хватит ли секунд? Хватит ли времени на все рабочие операции? Ведь не шутка — 75 станков!

Зоя Коновалова... Нынче у нее много титулов и званий: лауреат премии Ленинского комсомола, кавалер ордена «Знак Почета», депутат Верховного Совета республики, делегат XXV съезда партии. А тогда... А тогда она одной из первых на фабрике перешла на повышенное уплотнение — на 75 станков. За ней потянулись другие и уж, конечно, верная подруга Даша Андреева.

— Даша, а что, если?..

— Зоя, да ты что!..

— Ну, давай подсчитаем... Вот смотри, твои, скажем, станки будут стоять вот так — четыре ряда по двадцать пять штук...

— 100 станков?!

— Да ведь можем... Если твердым виноградовским маршрутом. Спокойно, без спешки, без нервов, а?

1 июля 1975 года девять ткачих фабрики Ногина перешли на обслуживание 100 станков! Такого еще — при нынешних скоростях оборудования — наша страна не знала! И когда в конце года Зоя стала лауреатом премии Виноградовых, а Даша — лауреатом премии знатных ткачих области, награды им вручила Алла Ивановна Мелентьева.

...Как же это он сказал? А-а... говорит: тетя Даша, вон тот дядька — шпион...

— Почему шпион-то? — наклонилась она к парнишке.

— Потому что, видишь, крадетесь как...

Никогда она раньше не думала, что так интересно возиться с ребятишкой... Ей говорят: Даш, есть такой кружок — «Юный друг милиции», ну, как, мол, а? Отмахивалась обеими руками. Но пошла раз — и ребятишки ее потрясли. Теперь как праздник какой-то — ходить с ними по городу; не любит ребятишка пляниц, грязнуль, словоблудие, не любит, когда обижают собак, любит наблюдать за птичьей толкотней, и хлебом не корми — дай им пощипать, попридумывать что-нибудь... Ведь видит, что пляница по забору крадется, так нарочно шпионом обзовет — из презрения...

Оказывается, мир так огромен. Так широк. Так интересен. И он тем богаче, чем больше у тебя с ним связей. Вчера в вечерней школе не хотелось учиться, а сегодня поступила в техникум. Иной раз, конечно, и отругает тетя Таня Владимировна: «Давай, давай, не ленись, беги заниматься, а Коля потерпит малость, чай, не из армии солдата ждать, а невесту с занятий!..»

— Тетя Таня, а что, если за Зою отработаем? — пришло однажды Даше в голову.

— Волков бояться — в лес не ходить.

— Берем?

— Попробуем, — улыбнулась Владимировна.

Вот так и получилось: Зоя была на съезде партии, а они на ее станках продолжали вырабатывать ткань. По 100 станков обслуживать — уже рекорд в нынешнем текстиле! Ну, а по 150...

И теперь одна мысль не дает Даше покоя. До того тревожит душу, что даже сны чудные снятся. Будто сидит она на берегу реки в родном Емелькине и разговаривает сама с собой.

150 станков?!

Нет, это уж чересчур на сегодняшний день — работать постоянно на ста пятидесяти. Даша обошла всех своих учителей и подруг. И никто пока не решается поддержать ее. И вот она одна в своей мечте...

Пока одна.

С чего начинается зрелость? С поры ученичества...

Вичугское профтехучилище № 12 имени Е. Виноградовой — кузница стхановцев текстиля. Здесь училась Дуся Виноградова. Училась Алла Мелентьева. Зоя Коновалова. Даша Андреева.

Здесь учатся никому пока не известные Вера Широких, Света Мануйленко, сестры Таня и Наташа Титовы, Альвина Аубакирова, Таня Образцова, Галя Кадынцева...

Сегодня страна еще не знает имен этих девочек. Но давайте запомним их — это ученицы Дашы Андреевой.

...Идут практические занятия. Нет, не в стенах училища. В стенах той ткацкой фабрики, где Дуся и Маруся Виноградовы устанавливали мировые рекорды. И это даже не занятия — это работа. Работа на производственных станках. Работа на общий план. На задание фабрики... Доверие? Доверие. А что оно дает? Оно дает ученикам главное — уверенность в своих силах, веру в свои возможности.

Мелькает между станками простенькая косынка Гали Кадынцевой. Нежные руки, быстрый взгляд, ласковая улыбка. И все тот же знаменитый виноградовский маршрут. Улыбка не для кого-то, не кому-то... просто пришло состояние, когда станки подчиняются тебе, чувствуешь их ритм...

Как их обучают в училище? Прежде всего они должны многое узнать о своем крае, о своей профессии. Часто к ним приезжает Мария Виноградова. У них светлые классы. Просторные мастерские. В коридоре бюст Евдокии Виноградовой. Училищный музей. Стенды. О чем они рассказывают?

Текстильный край Ивановщины — как небо, на котором вспыхивают и разгораются звездами рекорды, победы, достижения, подвиги, соревнования. Кажется, ни одна область не охвачена таким мощным движением соперничества, как Ивановская сторона — виноградовским движением. И когда Алевтина Смирнова и Зоя Коновалова кликнули по стране клич: «Два личных пятилетних задания — за десятилетнюю пятилетку!» — кто первым откликнулся на их призыв? Молодые ткачихи и прядильщицы — коммунистки и комсомолки Ивановской области. Вот их планы:

ДАША АНДРЕЕВА — 1-я пятилетка — 10.6.78; 2-я пятилетка — 16.12.80

НАДЯ КУРАКИНА, КАТЯ БОБКОВА, АЛЯ МЕТЕЛЬКОВА,

ЛЮБА МОЛОДОВА — 1-я пятилетка — 29.6.78; 2-я пятилетка — 29.12.80

НАДЯ АВСЕЕНКО — 1-я пятилетка — 23.6.78; 2-я пятилетка — 28.12.80

ВАЛЯ ГОЛУБЕВА — 1-я пятилетка — 16.12.77 года! К концу 1980 года — две с половиной пятилетки!

В ткацком цехе Ивановского камвольного комбината имени Ленина станки Вали Голубевой и ее ученицы Тани Курнос стоят рядом.

— Таня, а ведь ты, пожалуй, две пятилетки потянешь...

— Я уж и сама подсчитывала.

— Может, мы вот что придумаем...

Ты полторы да я две с половиной — четыре получается, а?

— Четыре.

— Объединимся?

— Валь, да я б с тобой... я бы горы свернула...

А началось это...

А началось это еще тогда, когда в 1935 году нарком легкой промышленности И. Любимов (вы помните?) написал Дусе Виноградовой: «...Я надеюсь, товарищ Виноградова, что Вы сумеете передать свой опыт другим ткачам, научите их работать так, как работаете Вы. Желаю успеха и надеюсь, что, совершенствуя свои методы работы, Вы в недалеком будущем добьетесь мирового рекорда обслуживания ткацких автоматических станков».

И она этого добилась.



**Ануар АЛИМЖАНОВ,**  
делегат XXV съезда КПСС,  
первый секретарь  
правления СП Казахской ССР,  
депутат Верховного Совета  
Казахской ССР,  
лауреат премии комсомола  
Казахстана

В романе «Сувенир из Отрара» я стремился отобразить жизнь своего поколения, своих сверстников, их поиски своего места в жизни. Книга состоит из четырех повестей. Каждая из них — это попытка год за годом, десятилетие за десятилетием исследовать проблемы нравственного самозатверждения и гражданской закалки тех, кому к концу Великой Отечественной войны исполнилось 10—15 лет, а сегодня уже за сорок.

Ныне перед главными героями книги, перед людьми, прочно занявшими свое место в общественной жизни и увлеченными своей работой, возникают новые проблемы. Они стали ответственными не только за себя, но и за воспитание подрастающего поколения. Такова логика жизни.

Все это заставляет меня вновь вернуться к «Сувениру из Отрара». Нам, писателям, надо знать думы и дела нынешней молодежи, проблемы, стоящие перед ней, знать, к чему она стремится, что ее волнует и что рождает в ней равнодушие, скептицизм, приспособленчество, эгоизм и изживенчество. Почему одни мечтают попасть на БАМ, на другие великие стройки и в трудном и честном труде самоутвердиться, а другие считают, что все — и квартира, и зарплата, и должности, и общественное признание — должно быть преподнесено на блюдечке? Почему мы быстро находим общий язык и взаимопонимание с теми, кто работает в цехах и на полях, и обнаруживаем порой заметное различие взглядов с теми, кто избрал для себя главным пристанищем улицы города, кафе и бары, для которых родители — это просто «отсталые предки», обязанные работать на них, кормить и одевать? Зачастую отсутствие авторитетов и идеалов проявляется не только во внешней, показной стороне. Ведь не только акселерация повинна в том, что для некоторых из них нет ничего святого, даже в любви, не говоря об отношении к родителям, которые пережили войну и потеряв свое детство и юность, теперь всю нежность души отдают детям.

А, быть может, это родительская нежность, любовь и всепрощение испортили их души?

Десятки «почему» рождаются сейчас, когда думаешь о жизни молодежи. Конечно, порицать легче, чем понять. Возможно,

я несколько обострил вопросы? Ведь молодежь наша в основном прекрасна, полна мечты о подвиге во имя блага своего народа, своего отечества, она жизнедеятельна.

Но я хочу попытаться получить ответ на свои вопросы. Хочу понять: почему в одной и той же среде появляются герои и антигерои? Иначе нет смысла продолжать книгу, ибо произведение искусства — это правда жизни. Быть может, ответ на все эти вопросы дадут сами юноши и девушки, которым сегодня по семнадцать — двадцать пять лет, на страницах «Смены»?

Но как бы там ни было, со времен Сократа и Гомера ответы на такие вопросы искали сообща и отцы и дети, взаимно вскрывая ошибки друг друга. В этом я убедился в процессе работы над книгами на историческую тему — «Стрела Мохамбата» и «Гонец», исследуя творческий путь величайшего мыслителя Древнего Востока Аль-Фараби...



**Чингиз АЙМАТОВ,**  
делегат XXV съезда КПСС,  
народный писатель Киргизии,  
депутат Верховного  
Совета СССР,  
лауреат Ленинской премии,  
лауреат Государственной  
премии СССР

В своих произведениях я пытаюсь ставить сложные нравственные проблемы, одинаково интересующие и тревожащие каждого из нас. Все мои книги адресованы современникам. Молодежь — часть нашего общества. И если писатель создал книгу, нужную для всех, значит, он создал книгу, необходимую и молодежи.

Недавно в журнале «Новый мир» опубликована моя новая повесть «Ранние журавли». Она посвящена молодежи и обращена к ней. Работая над этим произведением, я хотел, чтобы сегодняшние молодые люди соизмерили свое настоящее с нашим прошлым, лучше оценили его и, может быть, лучше поняли...

В «Ранних журавлях» я поднимаю вопрос, вечно волнующий живущих на земле: как устоять в грозных испытаниях, не потеряв того, что сообщает человеку его высокое имя? Все это прослеживаю на примерах жизни и смерти своих сверстников, которым выпала судьба пройти через невиданную до сих пор страшную войну и не только в ней устоять, победить, но и сохранить, закалив еще сильнее, лучшие человеческие качества.

Молодежная тема, на мой взгляд, в нашей советской многонациональной литературе еще недостаточно ярко и глубоко отражена. Хотя, замечу, литература — это не зеркало, а способ художественного познания жизни. Правда, я считаю, что наши писатели иной раз освещают не в полную меру не только труд и жизнь молодежи, но и многие другие проблемы современной жизни. Мы должны писать и о прошлом, и о настоящем, и о будущем — ведь сегодняшние молодые завтра будут зрелыми людьми, активными строителями новой жизни.

Наша молодежь героическая. Во все времена она была на переднем крае борьбы. Всегда являлась верным помощником пар-

тии. Какую бы страницу истории социалистического строительства мы ни открыли — на ней имена и подвиги юных, их сила, порыв, одержимость, страсть и талант.

Но хотелось бы сказать и о том, что несколько беспокоит меня. Все мы по праву гордимся огромными социальными и культурными завоеваниями в нашей стране. Мы — государство образованных людей. Но нередко, что греха таить, образование, получаемое современным молодым человеком, носит поверхностный характер. И он как часто некоторые самоуверенные молодые люди предъявляют требования к жизни, исходя из своей якобы высокой культуры. А на самом деле таковая отсутствует. Это в конечном итоге ведет к порождению духовной незрелости, инфантильности, невежества. Требуя и получая все от жизни, такие молодые, к сожалению, не могут дать обществу в силу названных причин ничего ценного.

Молодому человеку семидесятых необходимо работать над собой, воспитывая прежде всего главнейшее качество — человечность. Человечность — это очень широкое и глубокое понятие, включающее и уважение к старшим, и любовь к Родине, и трудолюбие...

И несколько слов о любви. В наше время любовные отношения стали, по моему, довольно просты. Но это совсем не значит, что мы должны рушить ореол таинства, веками окружающий это прекрасное чувство. Не надо любовь сводить к повседневному, будничному явлению, любовь — самая прекрасная радость в жизни. Берегите любовь, молодые, дорожите ею!



**Нодар ДУМБАДЗЕ,**  
делегат XXV съезда КПСС,  
секретарь правления  
СП Грузии,  
депутат Верховного Совета  
Грузинской ССР,  
лауреат премии Ленинского  
комсомола

Мне говорить о молодежи и легко и трудно, все мое творчество, по существу, отдано этой неисчерпаемой, благодарной теме. Легко потому, что это для меня настолько родное и выстраданное, что готов рассказывать об этом без конца... И в то же время очень трудно — ведь еще с давних времен мудрецы утверждают, что чем больше знаешь о чем-то, тем чаще приходишь к мысли, что знаешь мало... Я часто вспоминаю себя мальчишкой, когда мне тоже было семнадцать, и представлялись мне тогда сорокалетние и пятидесятилетние стариками, которые, казалось, не только не понимают нас, юных, но и уже сделали, как говорится, свое.

Становление моего характера пришлось на годы Великой Отечественной войны, на трудное послевоенное время. Главный герой моих многих книг — это мальчишка-сирота, который мужает и воспитывается среди взрослых людей, сам взрослеет, может быть, быстрее и основательнее, чем нынешние его сверстники. Да это и понятно. Военные годы рано выявляли главный кристалл души, производили ту закалку на прочность — и не столько физическую, сколько нравственную, — без которой немислим советский человек.

Мои произведения во многом автобиографичны. Я так же, как и мой маленький герой, пять лет провел в деревне, среди людей, заменивших мне родную семью. И, обращаясь к своему отрочеству, я смотрю сегодня на нынешних молодых не без некоторого чувства доброй зависти: как вы сегодня, мои юные товарищи и соратники, красивы, образованны, интеллигентны.

Но появились кое у кого черты, которых, по моему, не было у нас, — эгоцентризм и цинизм. Хорошо бы каждый, кого это касается, вовремя провел в себе «очистительную» работу.

Мы живем в прекрасное мирное время. К счастью, нет нужды в подвигах, которые совершали на полях кровавых сражений мои ровесники. Но разве полет Юрия Гагарина, который первым поднялся в космос, не подвиг? Разве книга шахтера Владислава Титова не подвиг?

Подвиг в наши дни изменил свою форму. Но осталась неизменной его гражданская суть.

Мой юный товарищ, я желаю тебе быть трудолюбивым, скромным, уважать своего ближнего — без этих качеств нет настоящего человека. Тебе продолжат наши дела и беречь гордое имя — Человек!



**Петр ПРОСКУРИН,**  
лауреат Государственной  
премии РСФСР  
имени М. Горького

Юность моя закончилась рано: в 15 лет я стал взрослым. Шла война, мужиков в нашем селе, на Брянщине, почти не осталось — старики да инвалиды, — и мы, мальчишки, и пахали, и сеяли, и делали все, что требовалось для жизни. Может быть, тогда, с тех лет, и началась закалка характера...

Потом армия, работа на Камчатке, первая серьезная публикация в 1958 году в «Тихоокеанской звезде» — рассказ, помню, назывался «Цена хлеба»...

Сейчас на моем столе вторая, завершающий роман из цикла повествований о семье Дерюгиных. Роман называется «Имя твое». Действует в нем в основном молодежь, дети Захара Дерюгина, ученые, рабочие, механизаторы, солдаты. Перед ними стоят уже иные задачи, потому что изменилось, усложнилось время: действие романа доходит до наших дней, семидесятых годов XX века.

И главное для моих молодых героев — правильно выбрать жизненный путь, найти свое место в окружающем мире, уяснить свои связи с прошлым. Я внимательно присматриваюсь к жизни молодежи и вижу, что в основном наши парни и девушки с ответственностью и уважением относятся к истории, историческому наследию. Характер их духовных запросов, социальная активность молодых говорят о здоровой атмосфере их жизни.

Закон диалектики таков, что дети должны брать новые жизненные высоты. Я хочу сказать нынешнему молодому поколению: трудитесь с энтузиазмом, хозяйствуйте рачительно, совершенствуйтесь духовно. И помните, что человек связан с человеком, что брать только себе, жить только для себя нельзя: придет глухое одиночество... Человек силен коллективизмом.

Александр  
ПРОХАНОВ

# СОРОК

РАССКАЗ

# СОРОКОВ

Рисунок Игоря БЕРЕЗИНА

**Н**а стертых рычагах кулаки, коричневые, как корневища. На дрожащем стекле кабины бьется слюдяная, залетевшая в грохот пчела. Обгорелая, в красноватой окалине, пыхает дымом труба. За пыльным, рыжим капотом распаханная казахстанская степь, полосатая, коричневая, как и его кулаки. А в нем, в Николае, мгновенное удивление и боль: где-то здесь, в отлетевший миг, у вывороченной плугом гряды, кончился четвертый его десяток, и грозно, невесомо полетел уже пятый, спугнув серо-голубого, степного луна, скользящего тихо на солнце.

Он оглянулся, пытается отыскать ту черту среди бесчисленных комьев, борозд. Но бороны шли, окутываясь прахом и пылью, дробя и ломая комки, сочно блестя зубьями.

Земляная, пшеничная клетка, пережившая зиму, отшлифованная острыми выюгами, запекшаяся на морозах и стужах, утаившая холодное, талое сияние снегов, окутанная прозрачным солнечным паром, готовая принять литое зерно...

Он знал эту клетку зеленой и пышной, охваченной летящими, лучистыми звездами молодых колосьев. Знал ее белой, огненно-яростной, разбитой ударами красных комбайнов. И голой, обмелевшей и тихой, в истоптанной, мятой стерне, в первых надрезах плуга до черной ее сердцевины. Он помнил ее в выпуклой льдистой броне, в мелких вспышках и радугах, изрытую кованым тракторным клином.

Ему казалось, над этой клеткой крутилось колесо дождей, снегов, урожаев и его собственных дней и лет. И нет ни конца, ни начала в этих вечных степных движениях. И хотелось ему разомкнуть круф, отыскать на минуту концы, увидеть жену и детей, что-то понять и запомнить.

Неужели и в этот день никто не придет поздравить? Никто не спросит, как жил и что нажил? Что видел за сорок лет, а чего не пришлось увидеть? Что несет в себе, чего не донес?

Неужели весь век до конца кружить здесь бессменно, чтобы лечь, наконец, в борозду и увидеть напоследок все то же: плугами изрытую землю, пустое степное небо?

Николай водил рукояти, глядел на пчелу, сбивавшую крылья о прозрачную преграду стекла. И была в нем печаль и тревога.

Далеко на дороге запыхала машина. Встала, поджидая трактор. Николай, разворачиваясь, медленно грохоча по пашне, приближался к ней, радуясь и надеясь, что услышит весть о жене, сердечное, к нему обращенное слово. Подкатил к бензовозу и выпрыгнул, не выключая мотора.



Шофер Игнат Горбыленко стоял, прислонившись к капоту, тощий, почерневший, угрюмый. Зыркал горестными, скользящими, не знающими покоя глазами. Его мятый пиджак был обсыпан колючими, прошлогодними семенами степной травы, будто где-то Игнат останавливал свой грузовик и лежал на груди в бурьяне.

Николай отвинчивал крышку у бака, смотрел на Игната, понимая, что не о нем, Николае, сейчас его думы, не к нему его быстрые темные взгляды.

Месяц назад умерла у Игната мать. Она болела годами, медленно неменя, просиживала у окна своей хаты, долгоносая, удивленная, круглоглазая, все что-то высматривая в конце проулка. Игнат, одинокий, ходил за ней бережно, суеверно. Варил ей супы и бульоны, кормил ее с ложки. Укутывал ноги одеялом. Привозил из степи букетики бледных цветков.

Он купил легковую машину. По воскресным дням разворачивал ее у крыльца. Выносил на руках свою мать и сажал с собой на сиденье. Они катили в степь по асфальтовому синему большаку, возвращались под вечер. И худое лицо его матери чуть розовело, довольное, умиленное. И он на руках уносил ее в дом.

Когда она умерла, и уже забросали землей, и он уже было пошел, растерянный и нескладный, — вдруг подломился, упал плашмя на могилу, что-то бормоча и захлебываясь.

С тех пор вечерами он все так же садился в машину, укатывал в степь. И если случалось кому подымать на дороге руку, всегда подбирал, подвозил. Но сажал назад на сиденье, не туда, где садилась мать. Будто они еще были вместе, будто она дышала с ним рядом. И стояли на окнах дома синие сухие букеты.

Николай держал пульсирующий, пропитанный горючим шланг. Наполнял грохочущий бак. Смотрел на Игната, тайно стыдясь своих ожиданий, надежд на поздравление и ласку. Игнат, длиннорукий, сутулый, сам нуждался в добре и заботе. И, не умея сказать и утешить, Николай, сбивая с наконецника последние прозрачные капли, тронул его за плечо.

— Молодец ты, Игнаша. Всегда поснеешь ко времени. Думаю, ну вот сейчас встану, заглохну. А ты тут как тут. Когда Петька Воронихин возил — что ты! Горе одно! И где он, Петька, гонял? Одни простои. А ты молодец.

— А? — рассеянно отозвался Игнат. — Ну, я поехал. Надо на четвертую клетку. Там сегодня кончают.

Он влез в кабину, покотил, подымая пыль. Несся уже далеко, уменьшаясь. Николай смотрел ему вслед. Думал, сидит с ним в кабине мать, отряхивая ему плечи и грудь, а он ей что-то жарко, счастливо рассказывает.

«Никто тебе души не откроет, пока ты свою не откроешь», — думал Николай, опять направляя трактор на волнистую, распаханную бесконечность. — А как им свою открыть? Какими словами? Кто бы знать обо мне захотел? Только Катя, жена, да детишки. А Катя и так все знает, а дети еще поймут ли? Книгу бы им написать, чтоб после об нас с матерью прочитали».

Бороны вяло колыхались, окутанные солнечной пылью. Трактор глотал гусеницами пашню на кромке усохшей, отверделой и сочной, растревоженной металлом земли. Николаю казалось, что перед ним по степи развернули огромную, размытую по краям страницу. И строка за строкой он выводит рассказ о себе, и чьи-то глазастые, напряженные лица следят за ним с высоты.

«Вот только б начать поскладнее».

И в нем, сквозь стекло, сквозь пчелу, яснее ясного, через все года, переезды — орловское их село. Пятнистая броневая машина с крестом выезжает на кладбище у церкви. Мнет ограды, травяные могилы, хрустящие кусты бузины. Немец-денщик в пилотке ставит аппарат на треноге. Выстроил у самой машины соседскую Катю, большеротую, всю в слезах, ее деда Степана, бородатого, нечесаного и босого, и его, Николая, спрятавшего за спину исцарапанные кулаки.

Грохот и вонь мотора. Ужимки и смех денщика. Черно-синее стекло аппарата, готовое лязгнуть вспышкой огня и железа. И в нем, в Николае, чувство тоски и позора, страха и жалости к Кате, к босому угрюмому деду, к себе самому. Неразумное детское знание о великой, на всех них упавшей беде, заслонившей и высокое солнце в липах, и близкую реку, и красную, еще незрелую гроздь бузины, и старую кирпичную церковь, в которой под самым куполом, где звезды и крылатые ангелы, сидит наблюдатель с трубой.

Из избы выходит бледный, тощий полковник в черном мундире с темно-серебряным крестом у свежевыбритой, чуть кровоточащей от мелких порезов шеи. Двигается на аппарат. И денщик нажимает спуск, козыряет полковнику, а им, троим, смеется желтозубо и радостно.

И ему, Николаю, хочется прижать к себе Катю, ее худые руки, в слезных подтеках лицо. Защитить от этого смеха, от зрачка аппарата, от выбритого полковничьего кадыка. Унести ее выше и дальше, сквозь липы, за поле, за лес.

«И ведь было такое? Со мной? Все осталось, до черточки. Деда, оглянувшись и увижу, — думал Николай, оканчивая борозду, поворачивая трактор у края поля, где начиналась дикая, не тронутая пугами степь, пересыпанная камнями, увитая упавшими бурными травами. — Куда же оно все девалось, если вот оно?»

Он вел агрегат против солнца, сухого, горячего блеска, на другой, чуть брезжащий край, где снежно белел солончак и дрожало, мерцало озеро.

Ложились под бороны строчки. В них открывались глаза и лица, гудели голоса, тянулись за трактором, будто бороны разрывали покров, выпускали их снова на свет. Увидел и тех двух молодых разведчиков, возникших из выюги, сидевших с дедом Степаном в крохотной рубленой баньке. И короткий их бой за селом, когда они, уходя, отстреливались от немцев красными вспышками. И деда Степана, в синяках, с опаленной седой бородой, перекрученной веревкой, поднятого на башню с крестом под глухую ветку липы. И полковника в бобровом меху, с длинной торчащей шейей, как он делает взмах перчаткой. И денщика с аппаратом. И похороны деда Степана, тонкий, чуть слышный плач. И грохот заречных пушек, когда лыжники в белом выставили на горе пулемет и строчили по отступающим немцам, кося их у церкви и кладбища.

Все ложилось строка за строкой.

«Так взборону и засею. Спроси меня, из чего хлеб родится? Да вот, из того, что помню».

Они, деревенские ребята, стояли над убитым, в снегу, полковником. Васька Глотов потрошил его сумку, высыпал из нее фотографии, пускал по рукам. И везде был полковник, среди чужих городов и дворцов, среди горящих домов и развалин, долголицый, надменный, среди испуганных женщин, детей...

...Увидел директорский «газик», летевший в степи на крыльях из косой, развевной пыли. Обрадовался его появлению, надеясь отпроситься у директора на нынешний вечер в село: «Так, мол, и так, Трофим Сергеевич, сами знаете, круглый праздник. Это тоже надо учесть. А то всю неделю в этом углу кручусь, восемьдесят километров от дома. Мои-то меня, небось, ждут. Это тоже надо понять».

Директор поджидал его, морщась и цураясь на солнце. Тучный, носатый, в сплющенной пыльной кепке, с большим животом, раздувавшим мучнистого цвета пиджак.

— Ты вот что, — обратился он к Николаю. — Тебе тут полклетки осталось, сам добыешь, на свой страх. Я к тебе агрегаты подсылать не стану; и так на тебя надеюсь. Двинем их на Кульджинскую клетку, у них там задержка, сразу два трактора встали. Ох, отстаем, отстаем по срокам, — застонал страдальчески. — Если еще день, два проморочим, не закроем почвы, все! Уйдет влага! Ишь, как парит, как тянет! Прогноз опять без дождей.

— Зима — снега чуть! — заражаясь его стоном, его страхом, заботой, сказал Николай. — Я говорю, снега почти не видали, Трофим Сергеевич. Как бы нам опять не гореть, как в третьем году. Где корма брать будем? Опять в Курган, на край света, за соломой?

— Да мы уже послали разведку. Если что, говорим, к вам опять осенью. Но я все надеюсь, чуть-чуть нас да смочит! Нам бы легонский дождичек в мае-июне, и был бы у нас каравай! — с надеждой, суеверно, следя за белым, пушистым облачком, проплывавшим над степью, произнес директор.

— А может, нанесет и побрызжет? — вторил ему Николай, провожая светлое, в сердцевине голубевшее облачко.

Они стояли, два хлебобоба, встретившись взглядами в высоком, исчезающем облаке, схваченные посреди степи единой судьбой и заботой, истертые ею и измученные. Из засух, дождей и пшеницы оыли их мысли и души, их морщины, потемнелые лица, их запавшие степные глаза.

— Дай-ка воды, — попросил директор, втягивая живот, страдальчески, шумно захватывая воздух большими ноздрями. — С утра жжет желудок.

— Да она теплая, перестояла, — доставал Николай из кабины трактора пластмассовую белую флягу.

— Только глотну, — потянулся директор, отвинчивая запачканную соляной крышкой, припадая к горловине оттопыренными сухими губами. — С утра нажигает. — Он вернул Николаю флягу. — Врачи опять в больницу зовут. Опять на свой стол приглашают. Режут, режут меня который год, километрами кишки вынимают. Чего там осталось, не знаю.

Николай кивал головой, сострадая, понимая чужую боль, чувствуя вину за свое здоровье, за крепость свою и двужилость. Не знал, чем помочь, мял в руках флягу.

— Да теплая она, перегретая! Водовозка вот-вот подъедет, холоденькой, свежей забросит!

— Чоп город знаешь на венгерской границе? Два раза его штурмовали. Там меня в живот... У них склады с вином. Дубовые бочки разбило, и все подвалы в вине. Касками его черпали после боя. Молодость! Только вышел наверх, а пушка в живот. Фельдшер мне говорил: вино в тебе разлилось, все и сожгло... Ну ладно, давай бороны!

Директор, морщась, сдвигая кепку на внезапно вспотевший лоб, залез тяжело в машину, покотил. Николай кивал ему вслед, следя за его исчезанием. Спохватился: о своих и спросить позабыл!

Пчела, оглушенная гарью и грохотом, вяло ползла по стеклу. Николай отпустил управление, давая трактору волю, и негнущейся, черной ладонью, костяной, натертой рычагами до блеска, не боящейся пчелиного жала, стряхнул пчелу в другую ладонь, выкинул на воздух, подальше, чтоб не попала под бороны.

«Гусеницы провиснули, дергают. Не сбросились бы на поворотах со звездочек. Придется по башмаку вынимать. Ну, еще пару разков проеду», — думал он озабоченно, ведя агрегат от нетронутой каменистой гряды к далекой соляной безлине.

Те давние, в свежести, в непомеркшей яркости годы. Их любовь — не любовь. Их детские ссоры и дружбы, когда сидели с Катей за тесной облупленной партой, и все ее вздохи и шорохи, случайные касания, тихие насмешки и хохот, ее буквы в тетради, в книжке засохший цветочек. Та черная липа у церкви в тяжелом опадающем гуле пчел и цветов, и гульба на селе, и ему уходить в солдаты. И она, усмекаясь, уклоняясь от его поцелуев, распустила из кос две синие ленты, повязала одну вокруг липы, а другую ему вокруг шеи. И после, стоя в карауле возле огромных военных ангаров, глядя, как взмывают с бетона остроклювые молнии, он доставал из кармана ленточку, старался поймать тонкие, не исчезнувшие ароматы. Думал: она ждет его, пишет ему письмо, скоро службе конец, и вместе уедут в казахстанскую степь, пустую и чистую, без горьких могил, без слезной памяти.

И все-то, все-то у них впереди.

Николай тихо ахнул, поймав в себе то исчезнувшее ожидание чуда, напряженное предчувствие счастья, знание о жизни, как о чем-то впереди предстоящем. Поразились внезапному молодому испугу, залетевшему бог весть из каких времен в его усталое, постаревшее тело.

«А мы говорим — прожили! А мы говорим — старики!»

Вот трактор, раскаленный и яростный, рассекает пугами дерн, выворачивает черно-синюю, не ведавшую света подкладку. Раскраивает степь со стоном и гулом. И с соседних озер, затмевая тучи и солнце, вяло, лениво, несметно поднимаются птицы, путаясь крыльями, клювами, наполняя выси криками, воплями, гономом. И ему, Николаю, страшно и сладко: он тронул безымянные, вечные силы, двинул их с места, и они потекли, потянулись, захватывая в движение и его и крохотный его трактор, первобытные, слепые, могучие.

Вот еще косяк налетел, кинул в черную, жирную пашню серебряную, хлопающую жабрами рыбу...

Вот его трактор нарезает клетку. Плышет в белесых, волнистых травах. Катя с ним вместе в кабине. Он, отпустив рычаги, обнимает ее и целует в бусы, в горячую дышащую грудь, в напряженные золотые глаза. И трактор качает их по холмам, по ковыльным гривам, и нет ни дорог, ни путей, только поле без края, и ее пальцы у него на груди. Опомнились, когда прискакал к ним орущий взмыленный всадник, махал с седла красной тряпкой, повернул их обратно: клетка вышла безмерной.

Вот впиался в штурвал комбайна, и поле, как плавильная печь, бушует, ревет раскаленно, и он, сталевар, принимает белую плавку из солнца, из хлеба, обжигаясь о копны и ворохи. И ток вдалеке, как слиток, окружен

сиянием. И сквозь бой и рев механизмов, мелькание стрекоз и колосьев причался взмыленный всадник: жена родила ему сына. Народился пшеничный сынок.

Вот он пашет предзимнюю зябь. В небесах пустынно и звездно. И такая грусть, чистота от своего одиночества, от остывших полей и предчувствий, от ночного неясного ветра. Опять кто-то мчится в степи среди медных падух звезд, несет ему весть: дочь родилась на исходе осенней зари, степная пшеничная дочка.

Когда он примчится еще, тот исчезнувший взмыленный всадник? Какую весть принесет на своем постаревшем лице?

Николай шел теперь против ветра. Пыль от борон не мешала ему смотреть. Он видел, как низко летит перепончатый двукрылый самолет, не стремясь в высоту. Над другой удаленной клеткой он канет к земле, превращаясь в трескучую комету с прозрачным, белесым хвостом, и, сбросив груз удобрений, облегченно взмоет и опять пролетит над ним. И, может, с высоты прочтает исписанную Николаем страницу.

Николай был рад самолету, своей встрече над полем с тем, незнакомым, в кабине. Представил его розовое молодое лицо, глаженую форму, фуражку, чистые башмаки на педалях. Сам же он трясся на раздавленном, пыльном сиденье с куском обветшалой кошмы. Сапоги его были разбиты и смяты. На зубах хрустела земля. Но он, земляной тракторист, посылал двукрылому летчику из прищуренных усталых зрачков два тоненьких синих луча, слив их с другими, небесными.

«Так что, гусеницы отладить? Чтоб шибче было летать?»

Он погасил грохотание, вылез из трактора. Тяжелым железным ключом, напрягая грудь и живот, сдвинул с места гайку натяжного, стягивающего гусеницу винта. В гусенице, в башмачных звеньях, пальцы из белой стали ходили ходуном: пыль и песок, попадая в зазоры, вытаскивали их, как наждак, и напряжение гусениц ослабело.

Николай молотком и зубилом обрубал в пальце шплинт, опрокинувшись на спину, подсунив ноги под тракторное нагретое брюхо, чувствуя его остывание, усталость, изношенность частей и деталей, медленно сгоравших среди черных и красных земель.

Трактор был стар, и скоро с ним расставаться. Скоро вырвут из него приборы и фары и, безглазого, кинут в степи на кладбище. И, испытывая к механизму жалость, вину и любовь, сопрягая с ним свою тайную боль и надежду, Николай бережными, точными взмахами выбил из скважины палец, разомкнул гусеницу, отделил от нее зубчатый, начищенный до блеска башмак. Положил его осторожно на пашню, забыв убраться с него руху. Думал, держась за железо: когда, на какой посевной или жатве забылось то чувство счастья, ожидания и веры в чудо, сменившись заботой? Когда оно, предстоещее, вдруг стало уже прошедшим, и время теперь не ждать — вспоминать?

Он лежал у разомкнутой гусеницы, глядел в синеватую сталь.

В те годы то ли солнце взбесилось, кипело и взрывалось над степью. То ли сдернулись в земле глубокие потайные запоры, вырвались подземные безумные силы. Что ни год, то жар и бесхлебье.

Чадно, с треском горит за селом сарай. Баба с воем бежит, тащит растрепанный куль. Мужики угрюмо и зло кидают в грузовик мешки, чемоданы — еще две семьи уезжают. Катя, иссушенная, остроликая и глазастая, вцепилась ему в рукав, молит: «Коля, уедем, Коля!» Над домами в степи поднимается черный смерч, тощий, живой, костлявый, будто тот полковник, воссозданный из пыли и праха, настиг их в казахстанской степи, смотрит на них из небес. И в нем, Николае, — ярость, тоска и гневное слепое упорство: «Замолчи, расстоналась! Никуда не уедем! А кто хошь — выметайся к черту!»

Бури идет по степи. Гонит по черному небу горячие пыльные тучи, комья колючих трав. Надувает в дома — на пороги, на окна грядки сыпучей земли. Их дети в жару и в бреду. Фельдшер, лысый, с родимым пятном в пол-лица, бормочет, трясет головой, ставит примочки. Катя, изведенная, обугленная, метущаяся, вспархивает, кидается к детям, припадает губами, мечется по дому, будто оббивает себя об углы. Он, Николай, сыплет из шкафа с белым в ладонь наметенную горстку земли. Вдруг кинулась на него с тонким криком, стала бить его в грудь кулаками: «Ты их сгубил, не уехал! Ненавижу! Битог бессердечный!» И упала без сил.

Горящая лампа прикрыта красной тряпичей. Ночь протекает. Дети и Катя забылись, чуть стонут. А он, Николай, босой, без рубахи, склонился над ними в робком, бессловесном молении. Призывает на них все доброе, не имеющие имени силы, все тайные свои упования, отдавая им весь свой свет. Верит в невозможность теперь расстаться, в их связь, в их обиды, до конца им отпущенный путь. И тихо светлело в углах, свет прибывал, окружая их легким сиянием. И под утро дети ровно и тихо дышат, лбы их в легкой испарине. И он, прикасаясь к жене, чуть слышно зовет: «Катюша!»

Николай подымался с земли. Звеня молотком и ключом, оканчивал перетяжку гусениц. Отнес на дорогу два изъятых стальных звена. Положил на видное место, чтобы после захватить на усадьбу.

Он работал, и солнце катилось. За ним тянулись вереницы разрытых борозд и его растревоженных, из прошлого вызванных мыслей.

Опять отвлекло его появление на дороге. Из разболтанной легковушки вышел и его поджидал вдалеке сухоногий, увещанный аппаратами, очкастый районный корреспондент Иван Петрович, знакомый Николаю уже долгие годы. Все тот же облупленный маленький носик, мигающие быстрые глазки, тусклое колечко на пальце.

— Давай вылезай, Николай, щелкну тебя на предмет ударного закрытия влаги, — махнул он, снимая с себя очки, протирая их чистым платочком.

— Да ну, Петрович, с детства не люблю аппаратов! — крикнул Николай, не глядя мотор.

— Давай, давай, не ломайся! В послезавтрашний номер. Обещаю крупным планом.

— Да у меня твоими планами детишки всю терраску обклеили. Войду, пугаюсь. Из всех углов сам на себя смотрю. Неужели, думаю, такой страшный?

Они беззлбно вздорили под грохот двигателя. И вдруг Николай, выключая мотор, сказал:

— Слушай, Петрович, а сделай ты мне настоящее фото. Не в газетку, где не поймешь, то ли человек, то ли трактор, а чтоб можно было увидеть, какой я сейчас. Чтоб после детишки могли посмотреть. Можешь такое, Петрович?

Тот стоял перед ним, близорукий, в стоптанных, запыленных ботинках, протирая стекляшки очков. И Николай вдруг прозрел, поразился: как тот постарел и слинял в эти годы, как поредели его вихры, сузились, потускнели глаза. А ведь было такое, когда, цепкий, быстрый и зоркий, возник в первый

раз на поле яростный, в пекле жатвы. Ругнул его злобно, готовый спихнуть, — так и тряслись по ухабам, крича и ругаясь, молодые, чернолицые, потные.

После, повстречавшись в районе, сидели и пили пиво. И тот, захмелев, хвастал Николаю, что целина для него — только школа, долго он тут не задержится. Его место в большой газете, до Москвы доберется и дальше. Николай его слушал тогда, восхищался им и поддакивал.

Видно, не пришлось переехать. Засосали степные дороги, ребяташки, семья, жена — завмаг в промтоварах. Завертели текучка и спешка, заботы о хлебе насущном. И теперь уже ясно: весь век ему здесь колесить в посевные и жатвы, как и ему, Николаю.

— Сделаю портрет, обещаю. Но уж как получится, — озабоченно ответил Петрович. Щелкнул его, стоящего у гусеницы. — Бывай! Теперь до уборки. Легковушка его покатила.

«Не понять, не понять. То ли нас зацепило и держит, никуда с этих мест не пускает. То ли сами мы что-то держим, отпустить боимся. Может, эту степь да пшеницу?»

В ту зиму он работал на дальней клетке с тракторным клином. Напахивал снеговые хребтины, о которые разбивались и гасли змеи поземки. Радовался чистоте, белизне, радугам, закольцованным в небе.

Мотор задохнулся и смолк. Он раскрыл капот и рылся в горячем железе, поглядывая сквозь проемы в узлах на сверканье метельных ручьев, на малиновое низкое солнце. Спину ему холодило.

Он кинул трактор в поле и стал выбиратья, ступая по хрупкому насту, рушась по пояс вглубь, рассекая о кромки руки, выплывая из снежных прорубей, дымаясь от пота и пара.

Небо зеленело, твердело. В мутной заре начинала недобро сверкать одинокая, как осколок, звезда. У глаз его льдиисто мерцала цепочка лисьих следов. И мысль его: «Не могу. Сил больше нету. Обманула чертова степь».

Он шел в черноте, заваливался. Ноги его застывали. Ватник хрустел, будто ломались длинные, хрупкие иглы. Дышал на свои скрюченные пальцы и думал: «Конец степняку».

Он упал и не мог подняться. Одежда твердела, будто небо ударило звезд выковывало на нем негнущиеся стальные пластины. Запаивало его в граненый футляр. И он смирялся и радовался, что конец непосильной работе, конец его степному мытарству. Вытягивал руки и ноги, чтобы небу было удобней ковать.

И когда погасла в нем мысль и, казалось, ушло тепло, и он уже превращался в эти снега, и звезды, и цепочки лисьих следов, вдруг увидел он стол посреди степи, и в облаке света его Катя и дети сидят и читают книжку, и головы их золотятся.

Он поднялся и двинулся на их удаление, шел к ним, тянулся на последнее с ними свидание, на последнее целование, и они плыли перед ним по степи.

Наутро, обмороженного, скрюченного, на заметном большаке подобрала его машина дорожников, отвезла в больницу.

«А что, может, и прав Федор Тихонович?» — думал теперь Николай, вспоминая слова библиотекаря, фронтовика без одной руки. — У нас, говорит, была война. У вас — целина. А у деток ваших — может, Луна. Всем свое выпадет. Легко никто не живет. Может, от этих трудов и народ стоит, ни одна сила его рассыпать не может?»

Еще и еще трактор достигал края поля, толкался от него, как от берега, снова погружался в безбрежность. На одном повороте, оглянувшись сквозь тьмное стекло, Николай заметил, что крайняя борона, зацепившись, перевернулась, колотилась зубьями вверх.

Он выпрыгнул, бежал агрегат. Рывком передернул борону на место. Выдрал из-под другой запутанный трос и старый, заржавленный лемех — память другой пахоты. Стоял на кромке пашни и седой степи.

Бороны чиркнули материк, растревожили блеклые, зимние травы. И запахло сильно полынными, свежими соками. Сквозь сухие, вялые ворохи цепких прошлогодних стеблей, сквозь сморщенные красные ягоды и железные семена степь, полная света, тепла и ветра, оживала, набухала, готовая принять на себя табуны и отары, погрузить их в волнистую зелень.

Николай стоял, озираясь, чувствуя жизнь степи. Малиновый жучок полз по его сапогу. Чайка, прилетев от озера, кувыркалась беззвучно, целила в него маленький серебряный клюв. У ног его из каменистой, растрескавшейся почвы тянулся синий чистый цветочек с мохнатой золотой сердцевинкой. Николай опустил, не срывая цветка, приближая к нему лицо, погружая его в голубые невесомые отсветы, снежные ароматы.

Короста, обугленная, бурая, сохранила в себе и теперь выпускала наверх соцветия и почки, свой вечный, в глубинах укрытый дух. Николай неясно ощущал свою общность со степью, свое с ней родство. О чем-то, к нему обращенном, говорила лиловая, дрожащая от ветра звезда.

«О ней, обо мне, об нас обо всех...»

Он закрыл глаза, неся под веками тающее изображение цветка.

Все последние годы — будто день да ночь обернулись. Непрерывные радения и хлопоты, колдовство со степью. Заново учились пахать, ловить дожди и снега, кидать зерно и снимать хлеба. Заговаривали степь, успокаивали обессиленную в травах и засухах. Заводили ее в берега, улавливая и опутывая дорогами и проводами. Пускали на нее осторожно новые плуги и машины. И она, укромная и уловленная, задышала ровней и глубже, выдыхая ввысь урожай. И он, Николай, меняя культиватор на селку, а жатку на безотвальную лемеха, только чуть успевал оглянуться: как дети его растут, как жена его вянет.

Трактор грохотал в стороне, звал к себе. Николай зашагал к нему. Нагнулся, поддев руками большой ком земли, вездравый, словно обсыпанный пеплом, но внутри дитой и тяжелый, сохранявший ядро воды.

Поднял его близко к глазам, словно увидел впервые. Стоял, огромный, темнотный, под высоким, звонко-прозрачным небом. И слезы, то ли радости, то ли печали, текли и падали в глыбу земли.

Он осторожно опустил ком на пашню, слив его с остальной землей, по которой ему до скончания века идти, поливая потом, расцвечивая хлебами.

Он боронил до захода солнца. И вечером, когда все золотилось и земля стала черно-красной, вся в следах от его борон, на поле прикатил грузовик. Из-за руля выпрыгнул сын, белоzubый и смуглый. И дочь выпшла из кабины, светясь волосами, что-то неся в руках. И Катя, жена, принаряженная, в новых туфлях.

Он двинул к ним трактор, а они, поджидая, стелили у края степи белую скатерть. Ставили бутылку с вином, стаканы, клали куски пирога.

Он шагал к ним, и тень его огромно уходила в степь, и он им казался идущим по земле великаном.

**Р. ИВНЕВ.** Вот вам, пожалуйста, прямой пример к нашей беседе... Сегодня у меня был семнадцатилетний поэт Коля, не буду называть фамилию; стихи пишет неплохие, добрый, отзывчивый юноша, а биографию Льва Толстого не знает!

Я его пристыдил, а он мне заявляет: «Я биографиями и датами не интересуюсь, мне творчество писателя важно!» Каково!

**Д. ОЗНОБИШИН.** Знакомо, знакомо... Однако эти юные отрицатели того не понимают, что и творчество художника яснее представишь, когда узнаешь все повороты и катаклизмы его жизни, периоды исканий, встреч, дружб.

**Р. ИВНЕВ.** Иначе говоря, нужно знание полное — идет ли речь о биографии писателя или о биографии своей страны.

**Д. ОЗНОБИШИН.** Кстати говоря, главный тезис у нас в Обществе охраны памятников таков: многое из исторических ценностей гибло не от отсутствия патриотизма, а от отсутствия знаний... Вот, может быть, наконец начнет выходить из печати «Свод памятников», и тогда людям станет яснее, где они живут, по каким улицам ходят, кто был их предшественником.

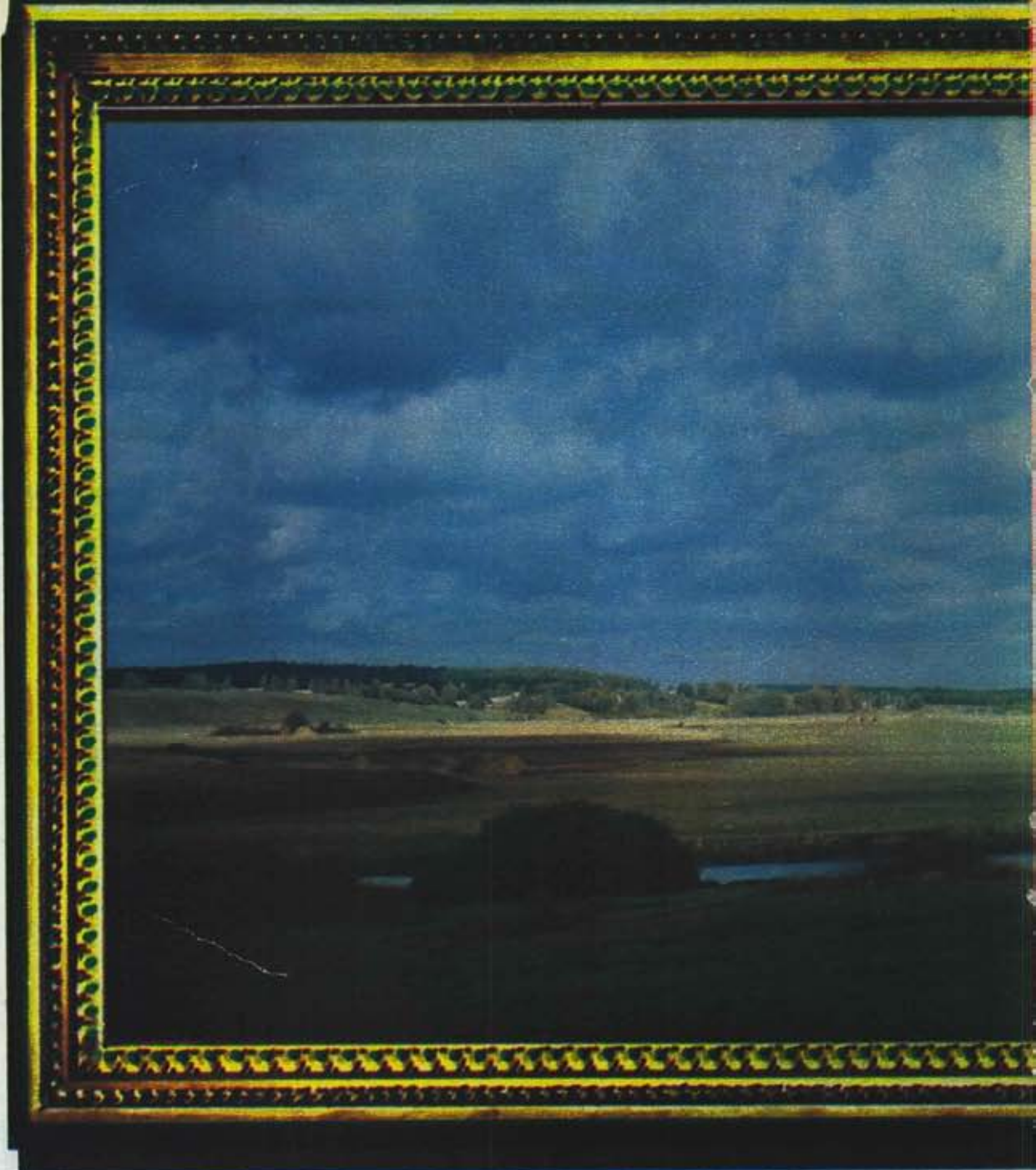
**Р. ИВНЕВ.** Особенно важно это для молодежи, для подрастающего поколения...

**Д. ОЗНОБИШИН.** Будущего страны!

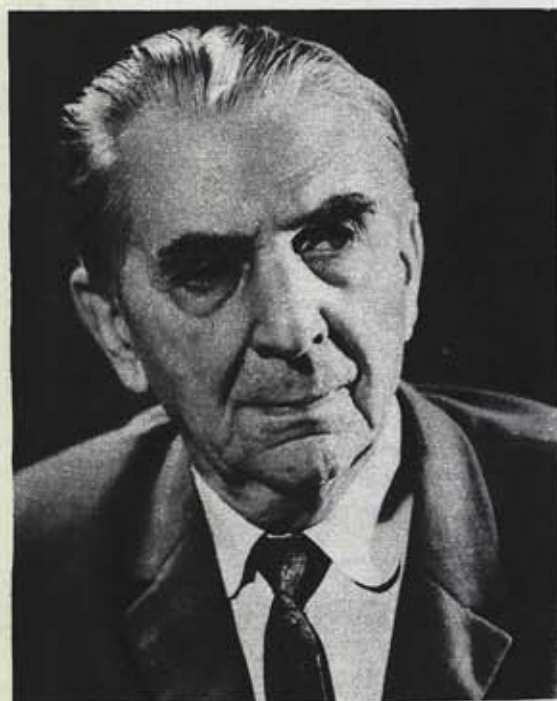
**Р. ИВНЕВ.** Я много встречаюсь с молодыми людьми, вы знаете, что дом мой открыт для них всегда, и, конечно, я не только слушаю их подчас и корявые стихи, я наблюдаю... В основе своей молодежь хорошая, цельная, обуреваемая жаждой знаний... Мальчики приходят, школьники, девочки, сидят, расспрашивают, как было, что было, кого я видел, знал... И, конечно, я для них, как тот же памятник, — на 9-й десяток перевалило уже за половину. Например, кто помнит, что была среди поэтов группа биокосмистов? Путаники были ужасные, но ведь первыми писали в стихах о Марсе, Венере, о космических полетах...

А какое время интересное настало после революции! Менялись представления, понятия, возникали новые направления в искусстве — время, насыщенное красками, поиском совсем нового, небывалого. Это время надо знать не только по учебникам — хотя и учебники необходимы! — но и по рассказам людей, которые пока еще остаются в жизни, которые многое могут рассказать...

**Д. ОЗНОБИШИН.** А как я с вами, Рюрик Александрович, познакомился двадцать лет назад? Занимаясь тогда Брестским миром, — мои работы по истории нашего первого в мире социалистического государства посвящены борьбе за мир, — в газете «Известия ВЛКСМ» за 26 февраля 1918 года я увидел



# ЛЮБИ ОТЕЧЕ



**Рюрик ИВНЕВ,**  
поэт

**Дмитрий ОЗНОБИШИН,**  
ученый секретарь  
академического издания  
«Литературные памятники»,  
доктор исторических наук,  
член исторической секции  
Всесоюзного общества  
охраны памятников истории  
и культуры



Фото Василия МИШИНА



# СТВО СВОЁ...

статью за вашей подписью «Победители и побежденные». Вы так пылко и доказательно поддерживали Брестский мир! А ведь более опытные бойцы колебались. Даже Анатолий Васильевич Луначарский.

**Р. ИВНЕВ.** Я был тогда его секретарем. Анатолий Васильевич обычно так или иначе откликался на мои статьи. На этот раз, когда я пришел к нему утром, он встретил меня по-прежнему приветливо, но о моей статье не сказал ни одного слова. Отличительной чертой его характера было то, что он никому никогда не навязывал своих мнений. Тогда же я подумал, что он не успел еще прочесть газету с моей статьей, но потом узнал, что это было не так. Луначарский прочел мою статью и не сказал ничего, потому что тогда еще несколько колебался, но вскоре и он присоединился к резолюции ЦИК, одобрявшей заключение Брестского мира...

**Д. ОЗНОБИШИН.** Я часто встречаюсь с вами как с журналистом на газетных страницах тех пламенных лет...

**Р. ИВНЕВ.** Тогда я занимался журналистикой, но поэзию не оставлял. Можно сказать, что в журналистике я передавал простыми словами то, что в стихах выражал более сложно... Поэзия и журналистика у меня не «сорились».

**Д. ОЗНОБИШИН.** Вот вы сказали, Рюрик Александрович, о молодежи, о ее стремлении к знанию... Но ведь есть и такие, кто не знает истории своей Родины, не знает и не испытывает особого желания знать.

**Р. ИВНЕВ.** Встречаются молодые люди бездуховные. Они могут быть способными инженерами, врачами, поэтами, а мечта и мысль дальние собственной машины или, как теперь называют стеллажи, «стенки» и всего прочего не идет. Книги

же у них стоят для «красоты» нетронутые. Мне за такие чистенькие книжечки в личных библиотеках стыдно! Пусть книга будет потрепанной от касаний рук, но зато видно, что она друг, необходимость...

**Д. ОЗНОБИШИН.** Мне кажется, дело тут в обособленности таких людей. Они отгораживаются в своем семейном мирке от всего... У них нет настоящих друзей, нет учителей! А как важно человеку в любом возрасте иметь учителя, то есть того, кому отданы были бы уважение, любовь. К кому стремились бы в трудную, веселую, печальную минуту... Человек без учителя гол. В детстве человек учителей не выбирает, их ему дает природа — это мать и отец, которые учат насущно важному: «Будь Человеком». Потом школа, где тоже не выбирают учителей, но после человек сам выбирает учителя...

Нашей молодежи есть у кого учиться: это русские большевики, освободившие наш народ от ига эксплуатации, это герои фронтов гражданской и Отечественной, это наши космонавты...

Это декабристы, перед которыми я преклоняюсь, перед их высоким бескорытием (вот бы поучиться некоторым молодым у них!). Личное для них не существовало, ни привилегии дворянского сословия, ни зполеты — они страдали за судьбы России, народа, его будущего. И если говорить о нравственных ценностях, о великих нравственных традициях, надо начинать с декабристов. Это люди высочайшей нравственности. Я был недавно в Ленинграде и ходил по декабристским памятным местам. Сколько еще надо сделать, чтобы увековечить для поколений эти трагические судьбы!

**Р. ИВНЕВ.** Мне кажется, что в этом школы весьма

пассивны, то есть именно те учителя, которых человек не выбирает. И если коснуться более близкого времени, то мне удивительно, например, как участнику выступлений по заявкам бюро пропаганды Союза писателей, что нас редко вызывают в школы, в интернаты, в ПТУ... Библиотеки, литобъединения, юбилейные вечера в учреждениях, где мы встречаемся с людьми по большей части уже вполне взрослыми, кого уже трудно воспитывать или перевоспитывать.

Вот как-то я ехал с экскурсией на катере по Черному морю. И экскурсовод, молоденькая девушка, славное лицо такое, рассказывала: «Вот это санаторий имени Ворошилова, вот Артек, вот Магеста...»

Я после экскурсии подошел к ней и сказал: «Спасибо большое, у вас хорошее знание современности, а вот что здесь было до революции?»

Она сердито сверкнула на меня голубыми огоньками глазок и отрезала: «Сухуми и был». Некоторые ведь просто считают разговоры о прошлом архаикой...

**Д. ОЗНОБИШИН.** И нужно говорить не только о самих событиях близкого или далекого времени, но и о людях Родины, о людях, которые были активными участниками событий. Любить надо всегда конкретно, а не абстрактно. Меня сейчас очень радуют и трогают начинания молодежко-комсомольские: розыски неизвестных героев Великой Отечественной войны, вполне конкретных людей, воевавших там-то и там-то, погибших здесь... Походы по местам боевой славы. И вот совсем новое: труд «За себя и за того парня». Это ведь самая конкретная память и не только память. Это частица истории, сохраняемая в семье погибшего героя, и к этой истории жизни и гибели героя, к героизму, приобретает современный рабочий паренек, он как бы вживается в ту жизнь, и вместе с этим протягивается нить, и крепкая нить, меж временами... Часто повторяют слово «народ». Да, народ, но это понятие общее, важен и человек, конкретный, живой или уже ушедший. Вы знаете, я очень люблю ваше стихотворение «Русская улыбка». Там точно подмечен характер истинно русского человека, и я позволю себе его прочесть теперь.

Как душепотрашающую скрипку,  
Как звездной ночью трели соловья,  
Люблю простую русскую улыбку,  
Зовущую в счастливые края,  
Ласкающую светлым обещаньем,  
Дарующую солнечный простор,  
Таящую и радость, и страданье,  
И тот доброжелательный задор,  
Который весь пронизан обаяньем.

Улыбка русская чиста и простодушна,  
Слегка лукава и всегда светла.  
Мягка — как воск, как буря — непослушна  
Кривым дорогам и велью зла.  
Пусть сам я часто совершал ошибки  
И мной не раз овладевала мгла,  
Склоняю голову пред русской улыбкой,  
Пред этим морем света и тепла.

**Р. ИВНЕВ.** Спасибо.

**Д. ОЗНОБИШИН.** Ну, если от поэзии перейти вновь к жизни, то я продолжу мою мысль по поводу знания. Ведь даже знать родословную своей семьи нужно. Многие молодые люди относятся к своим прародителям с непонятным снисхождением, иронией. Только и слышишь: «дед», «бабка», «пенсионеры»... И отношение эдакое к ним утилитарное. А ведь дед и прадед, может быть, люди в своем роде замечательные: пахари, бойцы, строители. А «бабки» — их верные подруги на жизненном нелегком пути...

И вот отсюда, от «малой истории» идет интерес к большой, и наоборот: от масштабности событий к человеку.

Молодой человек должен знать то, с чего все началось, и понимать, что происходит теперь. То есть исходные позиции исторического прошлого и современные явления.

**Р. ИВНЕВ.** Ну, современность они еще как-то, думаю, знают, а к древности отношение такое же, как вы верно отметили, иронически-снисходительное, как к «бабкам» и «дедам»...

**Д. ОЗНОБИШИН.** Да, есть, к сожалению, такая фанатерия... Меня как-то заинтересовала — что бы вы думали? — процедура современного, так сказать, бракосочетания. Пока она не очень осмыслена. В Москве, например, новобрачные совершают поездку на Воробьевы горы, чтобы взглянуть на Москву. Очень хорошо. Но, посмотрев довольно бездумно на Москву, молодые люди едут в ресторан, и, собственно, на этом все заканчивается. А ведь рядом с парашютом находится площадка, где два революционера, друга, Герцен и Огарев, совершили обряд клятвы на верность революции.

Молодые могли бы проехать к Никитским воротам, где целый комплекс памятников героям русской истории. И эта поездка может пробудить в молодых людях интерес к конкретному и глубокому знанию истории, литературы, то есть к культурному наследию. Здесь, у Никитских ворот, находится дом родственника декабриста М. С. Лунина, в котором состоялся бал по случаю свадьбы А. С. Пушкина. Рядом дом, где жил Огарев. Через дорогу церковь, где крестил Суворов. Еще через дорогу дом, где жил великий пролетарский писатель Алексей Максимович Горький. Еще пять минут езды — и вот он, дом, где родился Герцен.

И так не только в Москве, но и в любом городе или городке найдутся памятники героического прошлого нашей Родины.

**Р. ИВНЕВ.** Вы ведь недавно ездили в Калинин и Калининскую область? Там что-то интересное делается по восстановлению памятников прошлого. Расскажите. Я заметил, что до сознания многих людей лучше доходят духовные ценности народа, если они овеществлены, материальны. Не рассказы, а дом, и потом уже рассказ о нем, сначала не легенда о герое, а его одежда, пробитая пулей, не так ли?

**Д. ОЗНОБИШИН.** Совершенно верно. Овеществление идейной пропаганды — великое дело.

Так вот, Калининская область, Калинин... Там прекрасно понимают смысл научной организации охраны и восстановления памятников старины, революции, Великой Отечественной войны. В Калининском университете кафедрой истории СССР под руководством профессора Олега Андреевича Васильковского подготовлена рукопись «Памятники Калинин и Калининского района». Нужная книга. Ведь Тверской край 23 раза посещал Пушкин, и здесь создается «Пушкинское кольцо» — экскурсионный маршрут всесоюзного и международного значения. Восстанавливаются в прежнем виде города Торжок и Старица, места, связанные с деятельностью М. И. Калинина, места героической славы времен Отечественной войны. Много интересного там делается. Например, прекрасно работает местный клуб краеведов, они организовали на страницах «Калининской правды» 6 туров конкурса «Отечество». Сколько людей откликнулось! Масса! Вот это и есть конкретное изучение исторических сведений, без которых невозможна никакая охрана исторических памятников, без которого просто нет культурного, образованного, современного, подчеркиваю, современного человека.

Я думаю, телевидение наше замечательно придумало конкурсы «А ну-ка, девушки!» или «А ну-ка, парни!», и хорошо, что наши девушки (я тут как-то смотрел этот конкурс) с АЗЛК разбираются в марках любых машин, модах любых времен, мелодиях любых времен, и думаю, если бы они в передаче, например, «Люби Отечество свое», рассказали о своем городе, заводе, доме, людях истории, то это было бы совсем хорошо.

**Р. ИВНЕВ.** Я скажу еще и о другом, что касается кино... Касается декабристов, перед памятью которых я также глубоко преклоняюсь. Есть фильм о них — «Звезда пленительного счастья». Фильм в целом хороший, запоминающийся. Но казнь декабристов показана натуралистично, с подчеркиванием ужасных подробностей. Искусство — огромная сила, оно либо «живая вода», либо «мертвая». Думается, кадры казни декабристов — «мертвая вода», разрушающая сила. Подобные кадры говорят о бессилии человеческой плоти (как ни героически ведет себя человек), о том, что он смертен и слаб в конечном итоге...

Говорить о подвиге, о гибели во имя жизни нужно высоко и поэтично. Герой в фильме или пьесе должен идти на казнь, как когда-то в прекрасном французском фильме «Красное и черное» шел Жерар Филип в роли Жюльена Сореля. А ведь Сорель никакой не герой, а как он поднялся до высот большой трагической силы, идя на смерть так! Художники должны быть не только рациональны, но и глубоко, духовно поэтичны.

**Д. ОЗНОБИШИН.** Когда я говорил о декабристах, я не сказал, мне кажется, главного: не создано еще, к великому сожалению, достойной этого эпопеи, книги, пьесы...

**Р. ИВНЕВ.** Но хорошо, что сейчас вышел двухтомник их произведений, которые, надеюсь, молодые люди получат.

**Д. ОЗНОБИШИН.** Если достанут...

**Р. ИВНЕВ.** Да-а, это действительно проблема: достать хорошую книгу. Например книгу из вашей академической серии «Литературные памятники»...

**Д. ОЗНОБИШИН.** С нашей серией «Литературные памятники» произошел своего рода феномен: 25 лет назад она задумывалась как сугубо научное издание, а оказалась воспринятой широким читателем. Читательская почта огромна: предложения, советы, критические замечания. Мы сейчас разрабатываем перспективные планы на основе рекомендаций — по древнерусской литературе, средневековой, античности, особо уделено внимание русской литературе XIX века, XX века, литературным памятникам африканских народов, Латинской Америки, ведь зачастую раньше уходило из поля зрения целые континенты. Задача серии «Литературные памятники» — сделать доступной для читателя художественную биографию нашего мира, подвести итоги накопленного человечеством культуры.

Председатель нашей коллегии академик Дмитрий Сергеевич Лихачев считает, что серия больше внимания должна

уделять памятникам отечественным и этим самым воспитывать патриотизм, давать человеку знание о Родине.

Выйдет у нас скоро «Василий Теркин» А. Твардовского, первый памятник советской эпохи. Готовим книги Д. Фурманова «Чапаев», А. Фадеева «Разгром»... Интересно, что эти произведения пользуются большой популярностью в такой стране древней культуры, как Япония.

**Р. ИВНЕВ.** Огромной важности задача — рассказать людям о том, как они «начинались», раскрыть им красоту и героичность прошлого, заставить понять связь времен, уловить смысл бытия и пропитать любовью к истории родной земли их сердца...

**Д. ОЗНОБИШИН.** Но что лучше может быть, чем живой, остроумный собеседник, который может многое вспомнить, рассказать, расцветить красками художнического восприятия! Вот потому я каждый понедельник гость в вашем доме, Рюрик Александрович, и не устаю слушать ваши рассказы о работе с Луначарским, встречах с Блоком, Брюсовым, Маяковским, о большой дружбе с Сергеем Есениным. Пользуясь случаем, расскажите, Рюрик Александрович, молодым читателям о своей первой встрече с Александром Блоком, это поучительная встреча.

**Р. ИВНЕВ.** В 1911 году «его величество случай» поселил меня рядом с Александром Блоком на Малой Монетной, в маленьком деревянном особнячке. Мой товарищ Юрий Ясницкий говорил мне, что если я не решусь пойти к Блоку теперь, когда он живет рядом с нами, то я уже никогда к нему не соберусь, и добавлял: «И будешь потом рвать на себе волосы».

И вот я решился. Волнуясь с каждой ступенькой все больше, поднялся по лестнице и нажал наконец кнопку звонка, от которой отскакивал раз десять, если не больше.

Дверь открылась. Все оказалось проще, чем я ожидал. Никто меня не спросил, кто я такой, живу ли я в Петербурге или приехал из провинции и по какому делу я пришел. Потом, когда я рассказывал моим сверстникам о посещении Блока, восхищаясь той простотой, с которой он меня встретил, кто-то из них пытался острить, что нет ничего удивительного в том, что автор «Незнакомки» так легко и просто принял незнакомца. Когда Блоку сказали, что пришел студент, он вышел в переднюю и повел меня в глубь квартиры. Все три комнаты напоминали усеченную анфиладу. В каждой из них были широкие диваны, полки с книгами, цветами, небольшие книжные шкафы. Полное отсутствие громоздкой мебели, несколько картин, из которых я запомнил Кустодиева и Судейкина, и две или три фарфоровые вазы. Модных тогда кресел и диванов стиля «модерн» не было, стулья простые, полумягкие, но быт отсутствовал или так глубоко запрятался, что его никак нельзя было обнаружить.

Мы прошли через две комнаты в третью. Все двери были раскрыты настежь. В последней комнате Блок остановился у одного из столиков, на котором не было ничего, кроме нескольких книжек, по-видимому, только что полученных. Блок не задал мне ни одного трафаретного вопроса, он просто начал говорить со мною как с человеком, с которым часто встречался, и вышло как-то естественно, что я без всякого прямого вопроса начал ему рассказывать, что учился в Тифлисском кадетском корпусе, но не захотел поступать в юнкерское и приехал в Петербургский университет только потому, что в Петербурге у меня много родственников, в Москве — никого. Блок слушал с таким вниманием и интересом, что я рассказал почти всю свою биографию и, конечно, не скрыл, что начал писать стихи с девяти лет четвертого года. Блок задал мне единственный вопрос: «Какого поэта вы больше всего любите?» Я молчал, так как сказать «вас» было бы как-то неудобно. «А стихи молодого Алексея Толстого вам нравятся?» Молодого Алексея Толстого я не читал, поэтому промолчал. Блок, вероятно, это понял и взял со стола маленькую книжечку стихов, прочел:

Родила меня мать в гололедицу,  
Пестовал меня лютый мороз...

Разве это не хорошо?

Мне эти строки понравились, но сказать «нравятся» не повернулся язык. Потом я понял, что это было глупо, с моей стороны, но, наверное, объяснимо: я был счастлив, что разговор с Блоком шел гладко и естественно, и боялся какой-нибудь неудачной фразой все испортить. Ответил я так: «Стихи хорошие, но не такие, которые любишь до самозабвения». Александр Блок улыбнулся опять, вероятно, поняв, чьи стихи я люблю до самозабвения. Беседа закончилась тем, что я попросил его прочесть мои стихи и рассказчик, напечатанные в одном сборнике. Блок взял мой адрес и сказал, что свое мнение он мне напишет.

С того дня я только и думал о том, что мне напишет Блок. Наконец ответ пришел в лиловом конверте с черной прокладкой.

Письмо было очень суровое, но доброжелательное. Он дал мне рецепт лекарства, которое должно было вылечить меня от слепого подражания декадентам. И я пересмотрел свои поэтические позиции и вскоре, в 1912 году, напечатался со стихами в большевистской газете «Звезда».

**Д. ОЗНОБИШИН.** Благодарю вас, Рюрик Александрович, от своего имени и от имени тех, кто с вами познакомился сегодня.

А вот, например, знаете ли вы, молодые друзья-читатели, что письменность существует тридцать веков?!

**Р. ИВНЕВ.** Любите историю, она многое вам раскроет...

Размышления перед съездом:

## ПУБЛИЦИСТИКА

**Юрий ЖУКОВ,**  
делегат XXV съезда КПСС,  
кандидат в члены ЦК КПСС,  
депутат Верховного  
Совета СССР,  
лауреат  
Ленинской премии,  
политический обозреватель  
газеты «Правда»

XXV съезд КПСС принял величественную программу строительства коммунистического общества, воодушевляющую советский народ на новые трудовые подвиги, новые грандиозные свершения. Советские литераторы призваны в своем творчестве отразить размах нашего созидания, словом своим бороться за осуществление предначертаний ленинской партии, воспитывать советского человека, особенно молодого современника, в духе высоких идеалов коммунизма.

И здесь прежде всего мне хотелось бы сказать о долге всех советских писателей перед нашей замечательной советской молодежью. Она заслуживает того, чтобы рассказать о ее героическом труде во имя коммунизма, как рассказывали о первопроходцах-комсомольцах произведения писателей, которые мы благодарно храним в памяти и перечитываем не единожды: Веры Кетлинской, Петра Павленко, Алексея Арбузова...

В те далекие годы я был в Комсомольске-на-Амуре. И в свое время опубликовал немало материалов, рассказывающих о строительстве нового социалистического города на Дальнем Востоке. Сейчас вместе с И. Измайловой для «Библиотеки БАМа» мы подготовили книгу «Начало города», в которой рассказывается о подвиге комсомольцев 30-х, об их духовном опыте, имеющем громадное значение и в наши дни.

Кстати, ведь БАМ начал строиться тоже в 30-е годы. Тогда же была пущена первая ветка, именовавшаяся нами как ВОЛК, что значит Волоочавск — Комсомольск-на-Амуре. Восточное плечо БАМа поднялось еще в годы моей молодости... В книге рассказывается об этой дороге, о том, как мы в 1937 году двое суток ехали по новой ветке, а путь-то был длиною всего в 400 километров.

**Имант ЗИЕДОНИС,**  
лауреат Государственной  
премии Латвийской ССР,  
лауреат премии комсомола  
Латвии



## Юрий ЧЕРНИЧЕНКО



— Сколько нужно воды, чтобы вырастить килограмм зерна? Отчего бывают пыльные бури, почему растут овраги? Сколько земли приходится на человека сегодня, сколько ее будет через 10, 20, 40 лет?

Это одна группа вопросов.

А вот другая.

— Сколько «лошадей» в двигателе «Жигулей»? За кем замужем Ирина Роднина? Кто вратарь сборной страны по хоккею?

Первая группа, надо полагать, ближе и доступнее сельскому жителю. Но проведите опрос! На вопросы второго блока ответят восемь-девять сельских парней из каждого десятка (мой опыт), а на первую группу восемь-девять персон из десяти опрошенных НЕ ОТВЕТАЮТ! Причем не знать вратаря стыдно, быть не осведомленным в достоинствах ВАЗа — почти ущербность, а про эрозию-амброзию не знать — даже некий признак современности, независимости. Еще чего! Есть там у них агроном или кто — пусть знает, ему за это зарплата идет...

Долголетние наблюдения за молодежью в селе приводят к выводу: сегодняшний сельский парень гораздо грамотнее, чем его дед был в свои двадцать, но дед-то был образованнее! Образование в своем, естественном, деле. В земледелии. При всей деревенской темноте, при суевериях, при забитости, затурканности (а это жесткие факты, смешно не помнить о них и не считаться с ними) молодой крестьянин получал до входа в ранг взрослого кормильца такую сумму знаний о таянствах и сложностях земледельческого искусства, которая потом позволяла ему — при тех производительных силах, при сохе и деревянной бороне! — приладиться к каждой нивке и выбрать точное решение из целого верра вариантов.

Говорю: при тех производительных силах! Трактор К-701 заключает в себе 300 «лошадей» — тягловое поголовье большого села, а управляет им 1 (один) человек. Пропорционально ли выросла образованность земледельца, если мерю ее считать способность к самостоятельному решению? Нет. Сильней ли гордится он своей удачей, ловкостью, сметкой (вспомните кольцовского косца: «Раззудись, плечо,



Юрий ГРИБОВ,  
секретарь правления  
СП РСФСР,  
главный редактор  
еженедельника  
«Литературная Россия»

размахнись, рука...)? Сомневаюсь. А НТР преобразила многое в земледельческом труде. «Один с сошкой, семеро с ложкой» — эта пропорция из формулы тяжкого героизма превратилась в критерий отсталости. Если один занятый в сельском хозяйстве действительно будет кормить только семерых, общество останется полуграбным. Один — и двадцать, тридцать, сорок, да при обоснованной биологами норме потребления, — вот красота, романтика, вот «...размахнись, рука!»

Мы мало пишем для будущего кормильца и худо, скудно — в идейном смысле — его воспроизводим. Психологический, человеческий фактор — такая же серьезная слагающая урожая, как удобрения, как техника, как селекция. Канада не сумела победить ветровую эрозию до тех пор, пока за руль тракторов не село новое фермерское поколение, обученное почвозащите, как говорится, от молодых ногтей. Беда, если вновь пришедший в пшеничный цех молод по возрасту и стар в приемах и кругозоре.

В газетах мелькает: «Любить землю...» Это в поэзии можно любить таинственную незнакомку. Говорят, солдат склонен влюбляться в фотографии: обложки киножурналов дают к тому материал. Но землю нельзя любить платонически. Здесь любовь измеряется знанием, его прочностью и глубиной.

При распространенности плакатного жанра, при напоре сентиментальности в «деревенской» литературе мы почти не создаем патетичных в своем реализме картин сельского труда, равных по точности и привлекательности кольцовскому «Косарию», толстовской сцене сенокоса в «Анне Карениной», бронзовому «Сеятелю» скульптора Шадра.

Но чтобы создать — надо знать. Знать надо!

Сейчас Комсомольск-на-Амуре стал одним из опорных пунктов Байкало-Амурской магистрали. В канун XXV съезда КПСС был торжественно перекрест мост через Амур, его строители получили приветствие Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева.

И я думаю, сейчас как раз то самое прекрасное время, когда советские литераторы могут ярко и полно раскрыть в художественных образах подвиг молодых. Теперь этот подвиг более грандиозен и, я бы сказал, более продуктивен, поскольку вооружена молодежь и технически и с точки зрения образования несравненно лучше, чем прежде. Вспоминаю, например, «нахальный метод корчевания», который придумал тогда ростовчанин Андриасов. Выстраивались ребята по росту и тянули тяжелым канатом дерево из земли... Конечно, было трудно. У сегодняшних строителей нет тех сложнейших проблем, которые были у моих сверстников, сейчас мало кто представляет, что это такое — цинга, куриная слепота...

Недавно я посмотрел фильм об агитпоезде «Комсомольской правды» на БАМе и тоже вспомнил нашу маленькую выездную редакцию, которая выпускала агитлистки, пользовавшиеся у комсомольцев и спросом и авторитетом. Нашим молодым писателям нужно принять самое живейшее участие в работе такого агитпоезда: это дало бы им возможность накопить ценнейшие впечатления и материалы, которые легли бы в основу интересных книг о строителях десятой пятилетки.



У каждого из нас в юности были книги, которые не только способствовали становлению характера, но и подчас помогали выбрать профессию. Думаю, что эти кни-

ги — не в этом ли истинная ценность литературы! — остались путеводными и сегодня для юности нашей страны. Пройдет время, и потому, что «большое видится на расстоянии», и потому, что само время оценит и выберет более нужное, появятся новые значительные книги. Наши героические дни, дни небывалых свершений и трудовых подвигов, несомненно, вдохновят и уже вдохновили не одно писательское перо.

Одна из задач, стоящих перед литераторами, как мне кажется, заключается в том, чтобы помочь молодому человеку наших дней научиться отличать истинную культуру от лжекультуры. Материальное благополучие вовсе не гарантия настоящей культуры. Поясно свою мысль. Если у тебя есть, например, автомобиль и ты едешь на нем в театр, как говорится, «себя показать и людей посмотреть», такое посещение театра не поднимает подобного зрителя ни на одну ступеньку, и не становится он внутренне богаче. И мы, писатели, должны

в меру сил своим творчеством пропагандировать подлинную культуру, подлинное общение с нею.

Еще мне хотелось бы несколько слов сказать о подвиге. Сейчас именно те годы, «о которых слагают легенды», — время великих подвигов труда. Трудовая летопись нашей страны с каждым днем, с каждым часом полнится новыми именами героев. Советский народ сегодня вершит один коллективный подвиг, строя самое прекрасное общество — коммунизм. Вспомним, что Октябрьская революция — это тоже коллективный подвиг народа.

Наша советская литература — это прежде всего человековедение. И главная ее воспитательная роль — в совершенствовании советского человека.

Все мое творчество посвящено молодежи. Я часто встречаюсь с ней, и меня радует ее неудержимый порыв к труду, настоящему делу. Меня радует осознанная ею ответственность за судьбу страны, за будущее всего мира.

Отвечая на вопросы журнала, я, видимо, как и каждый литератор, мысленно обозреваю свое творчество последних лет и думаю, какое же место в нем отведено молодым, с которыми у меня давняя, постоянная, верная дружба.

Буквально недавно сдал в издательство «Советская Россия» для серии «Писатель и время» книжку очерков о людях Нечерноземной зоны России «Поездка в Табурзано-во». Половина очерков книжки — о молодежи. Среди них и дорогой для меня рассказ «Галля-Галинка» — о секретаре комсомольской организации колхоза Псковской области.

Я хорошо знаю деревню: там родился и рос. Много и часто ездю на село и сегодня. И меня сейчас бесконечно радуют образованность и профессионализм в работе молодежи. Если в годы моей юности тракторы и автомобили водили солидные, часто пожилые люди, то, глядишь, сегодня в кабине самой новейшей, самой сложной машины — мальчишка или девчонка лет девятнадцати-двадцати.

Кому из нас в последнее время не приходилось слышать (да и, сознаюсь, в запальчивости произносить) слова: «Нет, не та молодежь пошла, вот в наше время...» Так ли это? Нынче хочу сказать: хорошая у нас молодежь, можно на нее положиться — вместе со старшими, с коммунистами она умело строит будущее.

Недавно по заданию «Правды» я был в колхозе имени Дзержинского в Армении. Высоко в горах — две тысячи метров над уровнем моря — раскинулось это передовое хозяйство. Руководит им уныный, знающий человек, делегат XXV съезда КПСС С. Е. Назарян. Там, за облаками, буквально на камнях выращивается хлеб. И я с большим удовлетворением рассказывал в очерке о людях этого армянского села, о самом Назаряне, о девушках-комсомолках, работающих в парниках...

Преемственность поколений. Она в верности делам, идеям своих отцов. Об этом я говорю в рассказе «По заветам отцов». Жил в 30-е годы в одном российском селе молодой парень Иван Ячменев. Первым он сел на трактор, первым выступил за организацию колхоза. Убили его кулаки. Но дети и внуки Ячменева приняли эстафету отца и достойно несут ее.

Работаю я сейчас над повестью о юной сельской библиотекарше.

Никто с таким интересом, так жадно и безоглядно не читает книги, как молодежь. И она очень восприимчива к «браку» в нашем деле. Избегать же его помогает сама жизнь: сейчас писателю и выдумывать-то ничего не надо, ведь куда ни пойдешь, куда ни поедешь, везде тебя ждет подлинная, непридуманная героика советской действительности, только, как говорится, пиши...

Альберт ЛИХАНОВ

# МОЛОДАЯ ЖИЗНЬ И Л



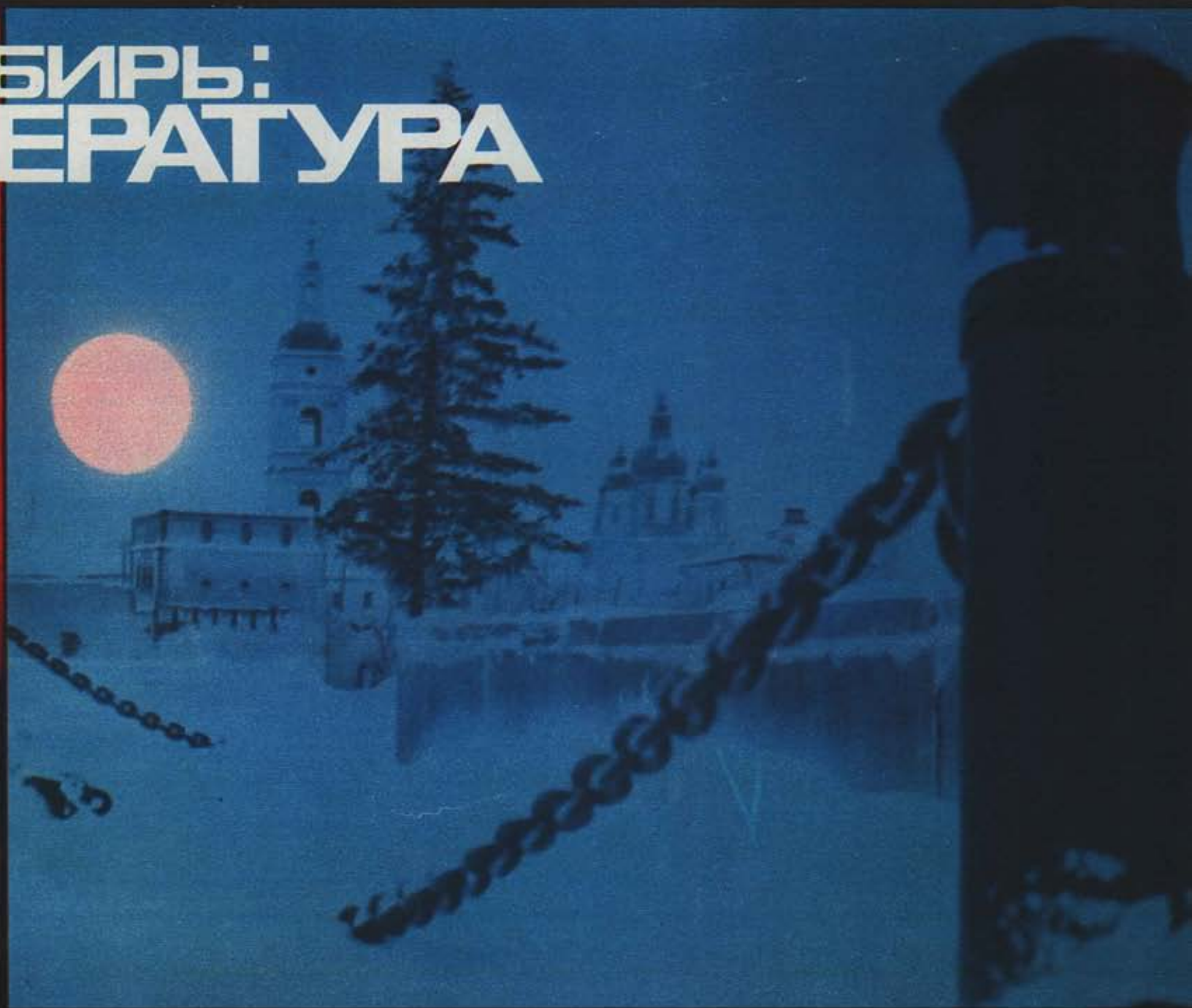
Удивительная закономерность: чем больше отдаляемся мы во времени от XXV съезда ленинской партии, тем чаще возвращается наша мысль к историческим дням и историческим решениям.

Историческим... Определение это становится привычным в нашем обиходе, однако само по себе оно далеко не обыденное, а, напротив, возвышенное. Возвышенность, впрочем, бывает разной—возвышенность нашего бытия предполагает трезвость, точный расчет, правдивость оценки сделанного и глубину в разработке перспектив. Значительность содеянного предполагает смелость в подступе к завтрашнему дню. Такая возвышенность смело может соседствовать с определением «исторический». Да, XXV съезд стал историческим, потому что народ наш от мала до велика—рабочий, крестьянин, школьник, ученый, инженер, учитель—каждый окрылен и возвышен радующей перспективой, ясным горизонтом, раскованностью духовных и физических сил. Вдохновение—вот имя сегодняшнему состоянию человека. И, думаю, не ошибусь, если скажу, что вдохновение это особенно ярко, выразительно, открыто проявляется в молодых, ибо энтузиазм, горячность, задиристость, ярость и вдохновенность—свойства, присутствующие в первый черед молодости.

Итак, молодость... Однако же она неоднородна. Она и неохватна тоже—разве мыслимо сразу, вот так, сказать все о молодости страны? Давайте же поразмышляем о передовой нашего строительства—о Сибири; о молодости этого огромного континента; о векторах ее жизнеутверждающих усилий, прочерченных мудростью решений XXV съезда партии; о том, что запечатлевает вдохновенный труд молодых,—о молодой литературе Сибири.

Что недоступно взгляду—доступно мысли. Так давайте же представим вначале огромную часть земли нашей от Урала до Великого, или Тихого, от Амура до не тающих никогда ледяных торосов Севера. Когда летишь самолетом с востока к западу—живешь в чуде. Самолет летит вровень с солнцем, и часы как бы замирают в своем движении. Вылетел из Хабаровска в семь, летишь над БА-Мом—тоже семь, Иркутском—опять семь, Красноярском—еще семь, Тюмень—снова стоят стрелки. Не меньшее чудо, когда летишь с запада на восток. Теперь время мчится вдвое быстрее—за час проносится два часа, и, вылетев вечером, ты становишься участником поразительного спектакля времени: стремительно падает занавес ночи, но это как будто по ошибке, тут же, словно спохватившись, заря прочерчивает алый полукруг горизонта, и незримый дирижер начинает вступление к завтрашнему

# СИБИРЬ: ЛИТЕРАТУРА



## НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ВПИСЫВАЮТСЯ В ИСТОРИЮ СИБИРИ...

дню—голубеет покрывало небесного купола, блекнут золотистые звезды, тьма растворяется в ярких красках утра, и вот всплывает оранжевое светило—ход его, качение его навстречу самолету стремительно и неотступно—день ворвался мгновенно, не так, как на земле, и в этом темпе символ Сибири. Из прошлого в будущее, без пересадок, летит день навстречу нам. И мы, на земле—кто в жесткой робе нефтяника, в красной каскетке, с брызгами глинистого раствора на лице, кто в высоких ботфортах геодезиста, прильнув к окуляру теодолита, кто в телогрейке, извечной форме российского строителя, на могучем бульдозере, вздыбив землю под будущую насыпь БАМа, кто простоволосый и потный от жаркого часа в кабине многотонного МАЗа с бетонным октаэдром в кузове, над бушующей мощью воды, которую завтра укротит распластанное тело плотины, кто в гражданском костюме, с расклеванными по моде брюками и при галстук в конструкторском бюро, освещенном в ранний час неоновыми лампами, вовсе не похожий на первопроходца, склонился над чертежами уникального проек-

та, который создается впервые в мире и авторы которого безусловные первопроходцы,—так вот мы, на земле идущие, прокладывающие, считающие, мы, обновленные зарей сибирского дня, вслед за солнцем соединяющие прошлое с будущим через настоящее, через сегодняшнее, мы соревнуемся с солнцем.

И как же тут не вспомнить Вас, Владимир Владимирович Маяковский. Вот была у Вас однажды встреча с солнцем, необычайное приключение, и у нас, у нынешних, такие встречи есть, однако, себя оценивая, поверяя деяния свои, помним-то мы Вашу первооткрывательскую встречу и Ваши слова:

И скоро,  
дружбы не тая,  
бью по плечу его я.  
А солнце тоже:  
«Ты да я,  
нас, товарищ, двое!  
Пойдем, поэт,  
взорлим,  
вспоем  
у мира в сером хламе.  
Я буду солнце лить свое,  
а ты—свое,  
стихами.

Право говорить на «ты» с солнцем Владимир Маяковский завоевал всей своей жизнью. Это право заработали своим трудом многие из жителей сегодняшнего дня. Комсомолец

строитель награжден золотым знаком «Молодой гвардеец пятилетки». Таким знаком награждают при выполнении личной пятилетки за три с половиной года. У этого парня все основания говорить с солнцем на «ты»: ведь он обогнал светило, сделав в то же время жизнь свою намного длиннее — деяниями нашими означена продолжительность жизни каждого. Геннадий Левин — Герой Социалистического Труда, заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР. Но Геннадий Левин и бригадир самотлорских нефтяников, рабочий. Соединение в одной судьбе высочайших политических постов с высшим гражданственным и партийным признанием — это есть слагаемые не просто огромного, превосходного труда.

Вот хроника — простые факты наших дней.

«Днем рождения ж-д магистрали Сургут-Уренгой стало 17 апреля 1976 года. Именно на коммунистическом субботнике был проложен первый километр новой магистрали — первый из 670. Право начать строительство новой дороги к центру газовых месторождений Западной Сибири было предоставлено комсомольско-молодежному коллективу путейцев — бригаде коммуниста Виктора Молозина из строительного монотного поезда № 522».

«Новосибирск. 115 выпускников старейшего в Сибири института железнодорожного транспорта получили направления на предприятия БАМ и в проектные организации и стройки. Им пришлось выдержать своеобразный конкурс, так как количество желающих работать на БАМе значительно превышает число плановых мест. Это право завоевали лучшие из лучших».

«Пермские заводы «Камкабель», «Гидростальконструкция», горношахтного оборудования заключили договор о творческом сотрудничестве в ускорении строительства Саяно-Шушенской ГЭС».

«Девятиметровая бронзовая фигура рабочего с факелом в поднятой руке встанет на высоком пьедестале возле одной из самотлорских дорог. Таким будет монумент в честь покорителей Самотлора».

«Красноярский научный центр начнет создание новых институтов — химии, биофизики, экологии лесных животных».

Всего лишь несколько событий, выбранных наугад из газетной хроники, но, размышляя о них, не только можно — необходимо увидеть главное. Суть нашей жизни. Позицию в этой жизни. Реальное — человеческое — воплощение решений партии. То, что мы назвали вначале вдохновением.

Первые километры дороги. За этим фактом — лица ребят, молодые, вос-

торженные, потные. Факт в истории страны, скажем прямо, микроскопический, но в биографии каждого из этих ребят, безусловно, выдающийся. Труд становится праздником. Это уже не внове для нас. И все-таки внове. Всегда. Ведь этим километром, проложенным в ленинский коммунистический субботник, будут поверены остальные 669 километров и многие другие дела молодых первопроходцев.

А конкурс выпускников Новосибирского института железнодорожного транспорта, желающих поехать на БАМ? А договор пермских заводов и институтов о сотрудничестве — для ускорения стройки Саяно-Шушенской ГЭС? А институт в Красноярске, где будут изучать экологию лесных животных — прежде всего, надо думать, в строящейся Сибири? А, наконец, монумент покорителям Самотлора?

Простые, обыденные дела, но за ними — перемены времени. Раньше, к примеру, на стройку ехал любой — только давай. Теперь по конкурсу, лучшие из лучших, специалисты, профессионалы, впрочем, профессионализм — требование, предъявляемое к рядовому рабочему. Стройка, БАМ, скажем, если надо, научит и поможет, но лучше, если научит второй профессии или организации работ и бригадирскому мастерству, как это делает в своей школе герой-строитель Анатолий Злобин и другие новаторы строительства. Новое в освоении Сибири сегодня — это готовность к большой стройке, стремление умело организовать высококвалифицированный труд. Ибо без этого невозможно решить поистине великие задачи. Сейчас мы говорим: БАМ, Зейская ГЭС, Канско-Ачинское угледобывающее предприятие, железная дорога Тюмень — Сургут, Удо-

канское медное месторождение... Но в наш обиход уже настойчиво стучатся слова: территориальный промышленный комплекс. Западно-Сибирский, Братско-Усть-Илимский, Саянский, Южно-Якутский... И это не просто новые словосочетания. Комплексность в освоении, где союзниками становятся специалисты едва ли не всех возможных специальностей. Это как в решающих битвах на войне: речь идет о стратегическом поиске, о крупной, если можно так выразиться, экономической философии, о государственном мышлении и государственном решении проблем. Не годятся, становятся неэффективными старые методы развития производительных сил. Крупномасштабное освоение целых районов, создание территориальных промышленных комплексов в Сибири предполагает переоценку вчерашних ценностей.

Да вот пример. Ангаро-Енисейская система комплексов. Небывалое в мировой практике явление. Региональное экономическое развитие этой зоны, равной иной стране, предполагает строительство крупнейших электростанций, целой системы обрабатывающей промышленности, создание комплекса электротехнических заводов в Минусинске, Абаканского вагоностроительного, алюминиевого завода. Реализацию подобных, без преувеличения, глобальных целей имел в виду Леонид Ильич Брежнев, когда говорил на XXV съезде партии: «...Назрел вопрос о совершенствовании методов комплексного решения крупных общегосударственных межотраслевых территориальных проблем. Здесь требуются единые, централизованные программы, охватывающие все этапы работы — от проектирования до практической реализации». Вторая часть высказывания — это задача. Задача в том числе для молодежи. И молодой нефтяник, которого мы представляли раньше, и геодезист с теодолитом, и бульдозерист, и инженер, разрабатывающий проект, перед лицом панорамы, рисуемой партией, не только лишь жизне-радостные исполнители. Они творцы, они мыслители, они переустроители жизни и огромной страны, называемой Сибирью...

Я размышлял о сегодняшнем дне, и это вполне понятно. Сегодняшнее связывает вчерашнее с завтрашним. Наш день — это сущее бытие, ибо, продолжая, надо преумножать, а стремясь к будущему, именно сегодня закладывать его основы. Подводя итоги предыдущим размышлениям, полагаю, можно вывести два новых качества, присущих сегодняшнему дню: высокий профессионализм и высшего порядка задачи. Одно без другого немыслимо.

Но тут надо сказать, что две эти характерные черты немыслимы и без завоеваний вчерашнего дня — без энтузиазма, без самоотречения во имя высокой цели, без самоотверженности, без героизма и мужества, которые обрели за минувшие годы новые качества, новые достоинства. Нельзя сбросить со счетов и моральные приобретения, сделанные за годы освоения Сибири. Генри Уинстон, генеральный секретарь Компартии США, как-то сказал, что движение советской молодежи на Восток и освоение американцами дикого Запада при внешней, может быть, схожести коренным образом отличаются по существу. Американцы шли на Запад за обогащением, за преуспеванием. Советские парни и девушки едут на Восток во имя блага Родины. Их порыв бескорыстен и обретает черты общественного подвига.

Молодые люди в Сибири становятся практическими хозяевами участка, стройки, а значит, и страны. Да, они получают высокую плату за свой труд, но подавляющее большинство и представить не может работу во имя одних лишь денег. Приехавшие в Сибирь становятся сильнее нравственно, веселее, увереннее. И все это входит составными чертами в такую категорию, как формирование личности, самоутверждение. Доверие друг к другу в большом и малом, предельная честность и презрение к мелкотравчатости характера, прямота и простодушие — эти коренные качества сибиряка становятся нравственными устоями тех, кто сибиряком становится по комсомольской путевке, говоря высокими словами — по зову сердца.

И здесь в самую пору перейти к





духовной жизни сибиряка. К тому, чем он дышит, о чем размышляет, чем поверяет свои нравственные и деловые поступки.

Духовная жизнь — понятие обширное; безусловно, впрочем, одно: важную роль играет в ней книга. Советчик, наставник, мудрец, помещающийся в рюкзак, а то и просто в карман, книга вдали от телецентров и кинотеатров принимает на себя, пожалуй, тройную нагрузку, и это, я полагаю, почетная особенность, специфическая черта книги, читаемой в Сибири.

Однако из громадного разнообразия книг, путешествующих по фантастическим просторам Сибири вместе со своими хозяевами, мы выберем для разговора сегодня лишь те, что вошли в пятидесятитомную библиотеку «Молодая проза Сибири», то, что принадлежит перу молодых сибиряков-писателей.

Это интересно и важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому, что молодые писатели словом «молодые» объективно присоединены ко всему многотысячному отряду комсомола, который трудится в Сибири. Одни строят БАМ, осваивают месторождения в Тюмени и Якутии, а другие пишут книги. И книги об этом. О деле, которое вершат их сверстники, и о самих сверстниках.

Литература есть отражение реальной действительности. Такова аксиома. Молодая литература Сибири крайне интересна и привлекательна тем, что она отражает процессы, происходящие в Сибири, и, скажем так, в Сибири молодой. Специфика молодой литературы в том, что писатели, творческая судьба которых только начинается, жизненной биографией своей связаны со своим поколением, может быть, непосредственнее, чем писатели старших поколений. Это отнюдь не противопоставление, нет. Рано или поздно писатель профессионализируется, без этого серьезный литературный труд невозможен. Профессионализация неизбежно влечет за собою хотя бы временное отдаление от героев. А молодой писатель, как правило, сам только что вышел из среды своих героев. Если хотите — он сам «материал» собственного творчества. Многие из молодых еще пребывают в среде своих героев — живут и работают рядом с ними.

Гениадий Евельянов долгое время выпускал многоотрадную газету на Запсибе, позже родился его роман о молодых строителях «Берег правый». Там же был Гарий Носиченко — теперь

он автор трилогии о Запсибе, первая часть которой вошла в «Молодую прозу Сибири». Сергей Заплавный написал повесть «Земля с надеждой» об освоителях томской нефти, потому что долгое время жил со своими героями. Олег Куваев, рано ушедший из жизни, был геологом по образованию; Аскольд Якубовский — топограф, Андрей Скалон — охотовед, Анатолий Черноусов — инженер.

Библиотека «Молодая проза Сибири» отметила десятилетие своей жизнедеятельности; в типографию ушел пятидесятый том. Рожденная решением ЦК ВЛКСМ и Госкомиздата РСФСР после Читинского и Кемеровского совещаний молодых, книжная эта серия ознаменовала собой приход в литературу целой волны ярко одаренных писателей, и это было схоже с эшелонами добровольцев, едущих и вчера и сегодня на новостройки Сибири. В этой внешней схожести, правда, есть и существенное различие. Для того, чтобы строить Сибирь, достаточно туда приехать. Для того, чтобы Сибирь воспеть, надо жить там и обладать талантом.

Первая волна авторов «Молодой прозы Сибири» была столь же молодая по возрасту, как и волна строителей, но, мне кажется, мудрей жизненным и душевным опытом: Владимир Чивилихин, Валентин Распутин, Вячеслав Шугаев, Гениадий Машкин, Александр Вампилов не ехали в Сибирь — они тут жили. Это была их родина. А про родину больше знаешь. Сам ход жизни первым представил слово молодым писателям-сибирякам. Пришли потом и встали рядом с ними «новобранцы», приехавшие с эшелонами комсомола. Они тоже внесли достойное в сибирскую литературу. Но это было позже.

В рамках «Молодой прозы» выстроилось несколько интересных явлений. Одно из них — ряд книг молодых писателей разных народностей Сибири. Этот ряд по праву открыли манси Юван Шесталов «Синим ветром каслания» и нивх Владимир Санги сборником повестей «Ложный гон». Начавшие в пятидесятые годы, но заявившие о себе в полный голос десятилетием спустя, эти писатели стали не столько этнографами своего народа, сколько мастерами острой, проблемной литературы, анализирующей ловку социальных устоев малых народов Сибири. Нанаец Петр Киле, бурят Ким Балков, автор первого алтайского романа «Арина» Лазарь Кокышев, алтаец Дибаш Камичин, коряк Владимир Колято, якугир Семен

Курилов уже сами по себе явления. Первый алтайский роман, первое прозаическое произведение на якугирском языке... Многие сибирские народности, как известно, получили письменность только при Советской власти. Первые художественные произведения на родном языке, мне кажется, могут считаться сродни великим стройкам Сибири — они результат труда народа, они вехи его истории, а подобные вехи в духовной жизни небольших народов, право же, значат не меньше, чем огромная ГЭС или мощное месторождение.

Два десятилетия прошло с тех пор, как партия призвала молодежь и комсомол к новому освоению Сибири. Десятилетие минуло и в истории «Молодой прозы Сибири». Сроки немалые, немало и сделано. Те, кто два десятка лет назад пришел на сибирские новостройки зеленым подмастерьем, ныне перешли в ранг мастеров, руководителей заводов и фабрик. Такие же процессы происходят и в литературе. Признанными мастерами стали Виктор Лихоносов, Виктор Потанин, Валентин Распутин... Вошло в первые ряды российской словесности имя прекрасного человека и драматурга Александра Вампилова. Запечатленный роман «Территория», посвященный Сибири, оставил нам Олег Куваев... На смену вчерашним молодым приходят сегодняшние молодые. Ученик мастера сибирской прозы Сергея Залыгина Георгий Баженов с добротной книгой «Время твоей жизни», Евгений Богданов с достойной книгой о сибирском севере «Доверенное лицо», Вячеслав Сукачев из Хабаровска, яркий публицист Вениамин Кольхалов.

Десять лет — немалый срок и в жизни человека, и в жизни книжной серии, и в жизни Сибири. Появление новой волны писательских талантов сродни рождению БАМа, к примеру, стройки новой, которой не было десять лет назад, но которая вот теперь

появилась и заявила о себе в полный голос. Голос БАМа громок и могуч, но он потому и громок, что за спиной у него очертания Братской ГЭС, ангарского каскада электростанций, дороги Абакан—Тайшет и многих других памятных вех недавнего прошлого.

И еще об одной параллели надо порассуждать.

Я говорил о новом уровне задач сегодняшнего дня. О территориальных промышленных комплексах.

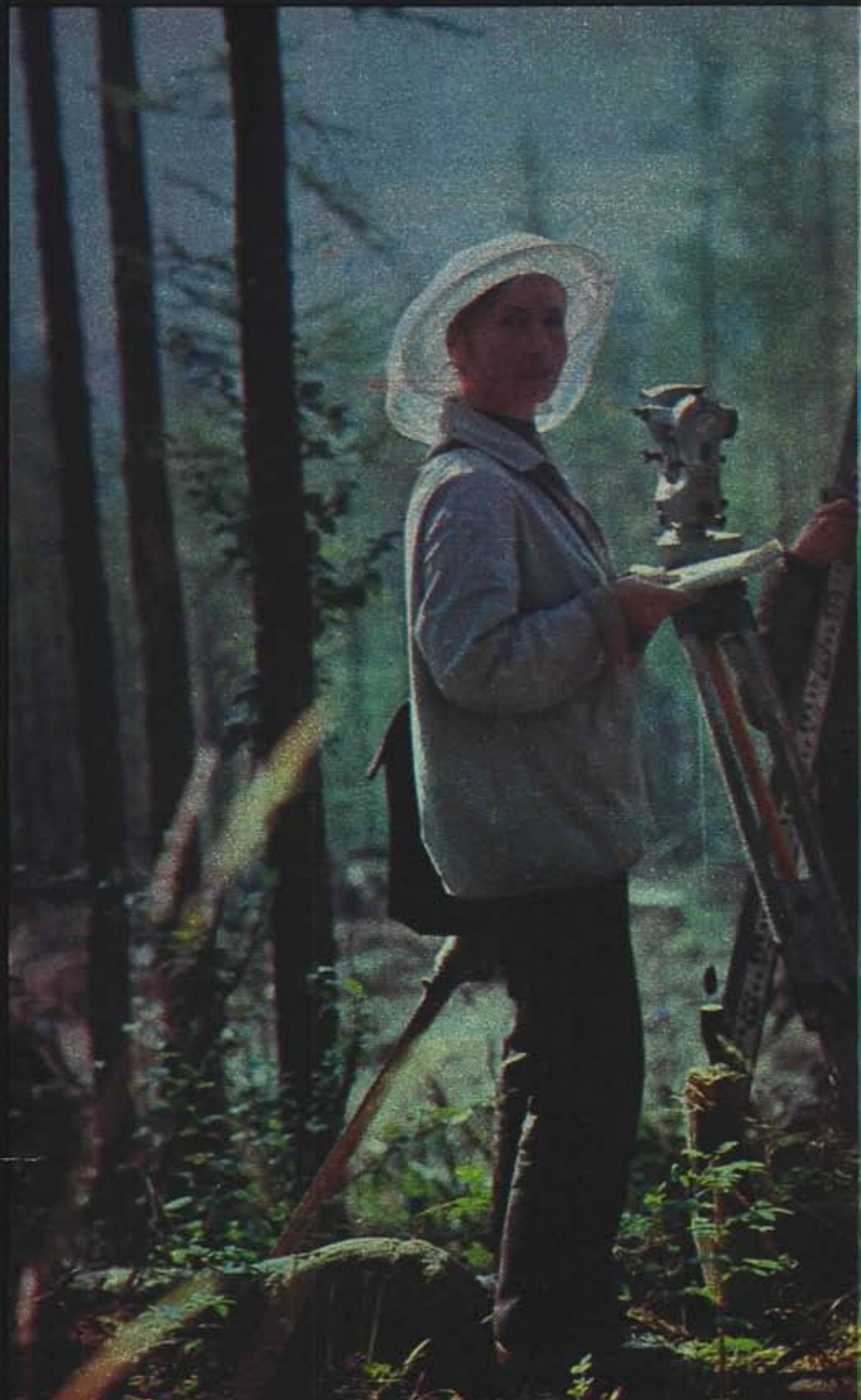
Действительно, совсем недавно мы с восторгом говорили о каком-нибудь новом сверхсовременном станке. Теперь, если говорить об эффективности и решительных переменах в станкостроении, нас более привлекает мысль о создании целых линий — автоматизированных станочных линий, состоящих из цепи современных станков. Раньше нас восхищал уже сам факт строительства крупной гидроэлектростанции. Теперь, размышляя о новой ГЭС, мы тут же обращаем взгляд к каскаду электростанций, обуздавших мощную сибирскую реку, а вот теперь — к региональным комплексам. Ну, а в духовной жизни? Нас привлекает новый односерийный фильм, но посмотрите, с каким пристальным и неослабевающим интересом смотрят многомилионные зрительские массы многосерийную картину, где подробно, порой скрупулезно исследуются различные аспекты социальной и нравственной жизни современника. Все это, на мой взгляд, вполне относится к пятидесятилетней библиотеке «Молодая проза Сибири». Мне думается, связь между телевизионным сериалом, книжными сериями, каскадами электростанций, «циклами» станков заключена в самом способе решения серьезных и глубоких проблем, в схожести самой методики. Пожалуй, это даже тенденция времени: серьезная проблема — будь то проблема экономики или технического прогресса, будь то проблема художественная или нравственная — не решается единственным уникальным достижением, а только системой, циклом. Проблема и тут и там требует последовательной и многосторонней разработки. Комплексность, многофункциональность, всесторонность, глубина — эти черты, присущие современной разработке народнохозяйственных проблем, как бы самой жизнью передаются и в литературу. И литература ставит перед собою и плодотворно решает целый ряд столь же глубоких и не менее важных пропагандистских и агитационных задач.

Я не анализирую книг молодых сибирских прозаиков, не пытаюсь исследовать их сюжеты — это дело критиков. Одно лишь хочу заметить. Беспрецедентное в мировой книгоиздательской практике издание коллективного собрания сочинений молодых писателей выдержало проверку и читателем и временем.

Создан литературный портрет молодого современника, переустроителя Сибири. Собраны в единый круг чтения, адресованный этому самому переустроителю, герою литературы, лучшие произведения сегодняшних молодых писателей. Серия сформировала несколько литературных поколений, вернее, сумела точно представить эти поколения. Намечены пути творческого поиска в темах, в разработке проблем и характеров, и сюда я прежде всего отнес бы две важнейшие: воспитание человека в труде—О. Куваев, С. Заплавный, В. Колыхалов, Е. Богданов, Г. Машкин, В. Шугаев и нравственное становление личности—В. Распутин, Г. Баженов, В. Лихоносов, В. Потанин, А. Скалон, В. Мазаев...

Молодая сибирская литература, выделенная книжной серией, не была чем-то изолированным в общелитературном процессе, напротив, составляла лишь рукав великой реки по имени советская литература.

Своеобразными рычагами, которые направляли интересы молодых писателей к жизни, стали публицистические коллективные сборники в рамках «Молодой прозы Сибири». Али



**СИБИРЬ ПРИРАСТАЕТ ЗАВОДАМИ,  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, ДОРОГАМИ.  
ЛЮДЬМИ...**



Алижанов, начальник института «Сибгипротранс», рассказывал мне как-то, что изыскатели, прокладывающие трассы новой железной дороги в Сибири, нашли однажды вешки—кто-то был здесь до них. Оказалось, эти вешки поставлены Гариным-Михайловским, когда-то инженером, потом известным писателем.

Для молодого писателя обращение его к публицистике—те же вешки, только, возможно, поставленные им самим для себя. Нельзя ждать серьезного художественного полотна сразу после важных событий. Должно пройти время. Факты и впечатления должны отстояться в художественном сознании, чтобы затем переплавиться в ткань художественной прозы. Но вешки при этом—вешки сыграют свою роль. Память о реальных людях и событиях не уйдет, она останется, она обогатит художественный вымысел, она обратится со временем в чистое золото слова.

С каждым годом Сибирь прирастает новыми заводами, электростанциями, людьми.

С каждым годом Сибирь прирастает и новыми литературными талантами.

И тут время вспомнить слова Михаила Васильевича Ломоносова, ставшие ныне реальностью: «Могущество России прирастает будет Сибирью».

И сила и слава неразделимы между собою. Сила—это наши дела. Слава—это среди прочего и наше слово. Слово, сказанное талантливо, даровито.

И нет ни тому, ни другому ни конца, ни предела...

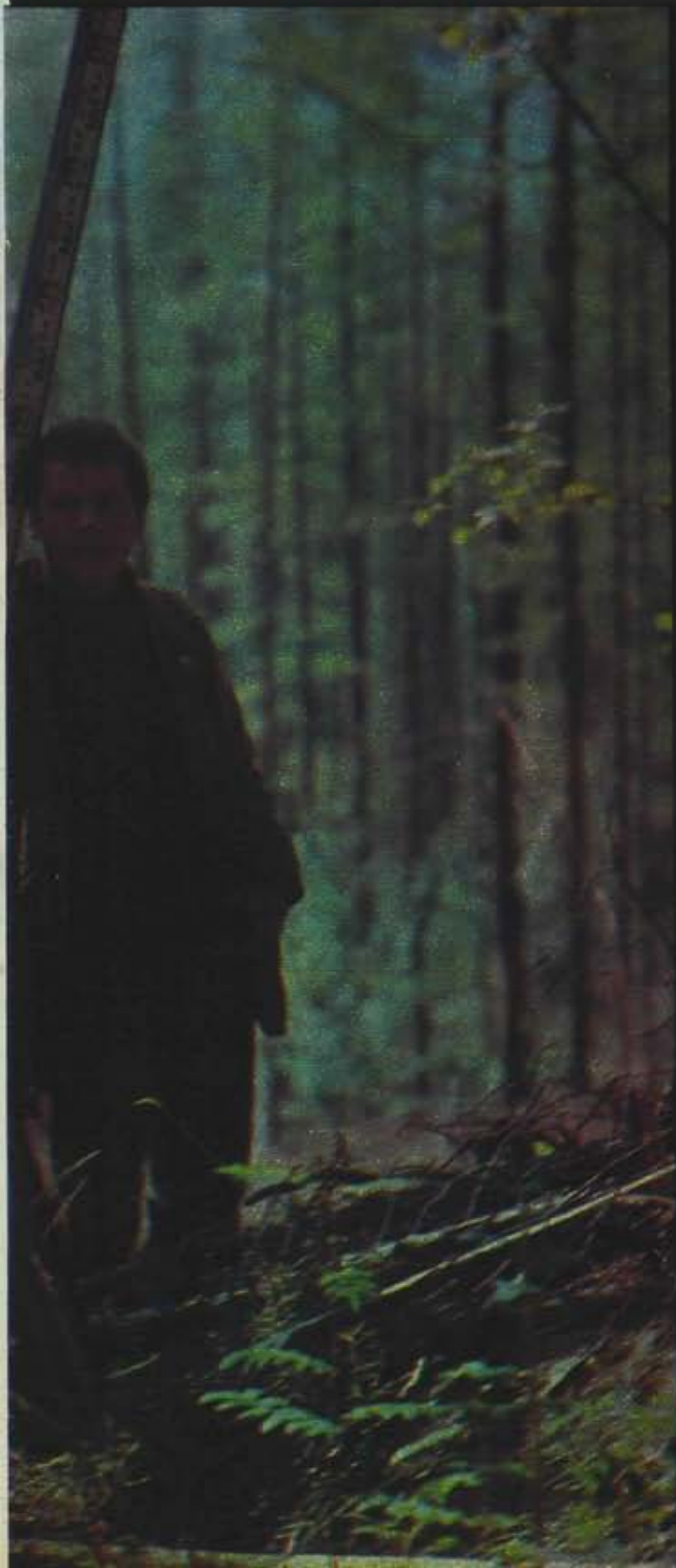
Молодые сибиряки—рабочие, строители, инженеры—возвели на сибирских просторах дороги, мосты, нефтяные вышки и магистрали.

Молодые писатели Сибири возвели в минувшие годы свою новостройку—библиотеку «Молодая проза Сибири» из пятидесяти книг.

Они работали в общем ряду.

Они сделали свое дело. Но, как юные их товарищи возводят теперь БАМ, они продолжают свою магистраль, которой, как и всякому нашему делу, нет конца.

Фото Геннадия КОПОСОВА,  
Александра НАГРАЛЯНА,  
Владимира ЧЕЙШВИЛИ,  
Льва ШЕРСТЕННИКОВА



# Было на

Гарий НЕМЧЕНКО

Двадцать лет назад, в мае 1956 года, партия призвала комсомольцев, всю советскую молодежь направить 400—500 тысяч лучших своих представителей на освоение богатств Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, на строительство электростанций, металлургических, химических, нефтеперерабатывающих и машиностроительных заводов, рудников, угольных шахт, железных дорог...

Запсиб—один из форпостов трудового подвижничества добровольцев. Старейшая Всесоюзная ударная комсомольская стройка, Западно-Сибирский металлургический гигант стал незабываемой вехой в биографиях тысяч молодых людей, комсомольцев. Будням великой стройки посвящаются документальная повесть писателя Гария Немченко, много лет работавшего на Запсибе.

Часто мне теперь снится примерно один и тот же сон: высокие стены в лесах, стальные конструкции, башни из бетона, переплетения труб, лестничные клетки, какие-то бесконечные эстакады, переходы, площадки... На какую только вершину в таком сне не заберешься, по какой только узенькой балочке не пройдешь, и нигде не застрянешь, отовсюду запросто спустишься, выйдешь из любого лабиринта, ниоткуда не свалишься. И везде чувствуешь себя удивительно спокойно, все тебе удается, все ладится, а кругом, где бы ни шел, встречается тебе народ, много народу—работают, курят, идут толпой, стоят кружком, сидят рядышком, и все это будто бы твои хорошие знакомые или просто добрые люди, потому что и ты им беспрестанно киваешь, и они с тобой то и дело здороваются.

Сперва я задумывался каждый раз: что бы этот идуственный сон мог значить? И долго не мог сообразить, а потом вдруг понял: да вот же! Это просто снится мне стройка. Наша стройка.

Запсиб. Зимой пятьдесят девятого года мы с Геннадием Емельяновым—полный штат многотиражки с погромывающим названием «Металлургстрой»—сидели в разных углах крохотной, забитой сизым папиросным дымом комнатки и часто в одно и то же время заняты были делами противоположными: я в очередной раз упрямо вставлял это новое тогда на Антоновской площадке слово в очерк или в корреспонденцию, а шеф мой всюду, где только находил его, безжалостно вычеркивал: еще, мол, одна абракадабра!

Он к тому времени уже по праву считался опытным газетчиком, ходил в молодцы, большие надежды подающих прозаиках, а я был только что со студенческой скамьи и, хоть входило это в прямые мои обязанности, не мог даже составить макета—этим, попутно обучая меня хитрому ремеслу ответственного секретаря, занимался у нас редактор. Куда мне было с ним спорить?

И оставалось только огорченно вздыхать: да разве же в самом деле непонятно, что только так—деловито, весомо, коротко—и должна называться гигантская стройка?!

Рядом с нашим поселком тогда еще, можно сказать, и конь не валялся.

Вечером, забравшись на сопки, мы с завистью поглядывали в сторону города, где неслышно помигивали, приподнимали темное небо алые сполохи от плавок на том самом комбинате, который тридцать лет назад вырос на площадке с легендарным именем: Кузнецкстрой. Теперь на другом берегу Томи начиналось строительство нового большого завода—Западно-Сибирского металлургического, и мне казалось, что в том самом сокращении, которое мой редактор упорно не пускал на страницы многотиражки, как бы слышалось эхо первой далекой пятилетки...

Должен сказать, что я оказался терпеливее своего шефа: в конце концов ему надоело делать помарки. И первым среди газет наш крошечный листок применительно к стройке официально утвердил сокращение: Запсиб.

Вовсе не хочу подчеркнуть свою в этом деле заслугу, потому что не я придумал это слово: его давно уже писали и на коричневых боках приходящих на стройку товарных вагонов и в соответствующей графе накладных. Но думать об

этом бывает приятно—что помог проклонуться, помог на первых порах подрасти слову, которое хорошо теперь знает страна и которое и для меня самого и для многих моих друзей стало и таким дорогим и таким всеобъемлющим, потому что для нас Запсиб—это и наша молодость, и горячая, до седьмого пота работа, и беззаветное, не знавшее предательства наше товарищество... Удивительно все переплелось: и эти громадные, давно уже черные от копоти и графита цехи, и запах коксохима, и дружеская улыбка, и чья-то крепкая рука, которая помогла тебе взобраться в кузов, когда на ходу садился в набитую, словно сельдьями в бочке, «коробочку», и свадьбы, на которых кричал «горько», и собственные твои сыновья—все одно и то же: Запсиб.

Попробуй поищи-ка слово, которое для многих было бы таким же емким!

Не так давно пришло мне одно интересное письмо. «А можно напечатать такую книжку?—спрашивал человек.—Пускай в ней не будет ни героев, ни подвигов и даже биографий не будет, ничего, а просто фамилии, кто работал на стройке. «Они строили Запсиб»—так назвать эту книгу. А в ней одни фамилии: Иванов, Петров, Сидоров. Ну, имя-отчество. И где родился, чтобы не было путаницы.

Спорить готов на что угодно: такая книжка была бы нарасхват».

О себе, кроме того, что живет теперь в Костроме, ничего такого он не сообщил, не дал обратного адреса, даже фамилию на конверте написал не очень разборчиво—просто расписался... Может быть, размышляя: зачем? Не о своей ведь славе пекусь—об общей. Уж если и в самом деле выйдет такая книжка, вот тогда...

Многие из тех, кто строил Западно-Сибирский металлургический, стали нынче и знаменитыми и стали знатными, имена их известны не только в Новокузнецке и не только в Сибири.

Но вот жил себе на Антоновской площадке самый обыкновенный человек. Громкой славы себе не заработал. Только помнит душу: причастен.

А прочтает в газете гордую строчку, услышит какую новость по радио, увидит знакомое лицо по телевизору, и сердце забьется чаще, и нахлынет вдруг то, что казалось давно позабытым.

Кто он, этот нынешний костромич? Что делал на Запсибе? О чем помнит?

Может быть, и ему тоже часто снится теперь один и тот же сон: высокие стены в лесах... стальные конструкции...

Снится наша с ним стройка. Наш Запсиб.

Летом он написал, что в сентябре собирается на Рижское взморье, и я, когда прочитал, потер ладони: у меня тоже была путевка в Прибалтику на это же время. И я нарочно не стал отвечать, решил устроить ему сюрприз.

Уже там, в Юрмале, изо дня в день я обзванивал санатории, задавал один и тот же вопрос: есть ли такой отдыхающий—Белый Иван Григорьевич? Секретарь парткома Западно-Сибирского металлургического завода, из Новокузнецка? Только за несколько дней до моего отъезда мне ответили наконец, что есть. Когда разыскал санаторий и его вызвали из корпуса, он появился с торопливым любопытством, издали вытянул шею и, как всегда, прищурился. Штрипки он, видно, не успел заправить или забыл, спортивные брюки от этого казались коротковатыми, и, несмотря на модные, с красными полосками велосипедные туфли, вид у него был не только домашний, но и как будто даже простецкий и очень соответствовал радостному тому удивлению, с которым он протягивал обе руки:

— Откуда ты, слушай, взялся? Потом на нем уже был и строгий галстук и новенький, в полоску пиджак с орденскими планками.

Сколько мы с ним друг друга знали—и бок о бок работали и рядом жили,—никогда почти не видел я его при параде, и сейчас мне нравилось на него смотреть, невеселого и уже почти совсем седенького, с этим добродушно-хитроватым его, всем на Антоновской площадке известным прищуром. Всегда и во всем отличала его деловитая, я бы сказал, крестьянская простота, и сейчас мне было любопытно замечать, как словно прибавилось в нем значительности, когда надел этот костюм с планками—тот, в котором «представлял» Запсиб в министерстве или в Совмине...

Мы с ним неторопливо ходили, осматривали громадный санаторий, гуляли по песчаным дорожкам среди сосен. Потом

я ему показывал Дом творчества, посидели мы в баре, выпили кофейку и пошли по людной центральной улице Юрмалы. Около магазина культоваров он придержал меня за руку:

— Жалко, что закрыт,—и кивнул на витрину.—Балалайка! А я давно ищущу, у нас не бывает...

— Вы играете?

— Раньше играл. До войны еще. Дядька у меня на Кузнецкстрое работал, к нему я и приехал. Большой был любитель, а я тоже чуть-чуть умел: в деревне все-таки вырос! И вот, как минута выдася, сядем на балконе друг против друга и давай... С тех пор в руки не брал, а другой раз увидишь—так хочется!

Я только представил, как идет мимо его дома кто-либо из наших ребят, а Иван Григорьевич сидит себе на балконе, на балалайке наяривает...

— Придется мне потом зайти, жаль!..

И я тоже искренне пожалел. Во-первых, потому, что и мне безотчетно нравится балалайка. И я тоже, бывает, казалось бы, ни с того ни с сего покупаю вдруг что-нибудь такое, что мне хотелось иметь когда-то в далеком детстве и к чему теперь уже, может, и не притронешься, только будешь поглядывать иногда...

Видел я Белого где-нибудь на бюро, когда он без всякой жалости распекал какого-нибудь опять сорвавшего сроки субподрядчика и выговор предлагал обязательно с занесением... Видел под проливным дождем на митинге по случаю пуска очередной коксовой батареи. На комсомольском собрании. В заводской столовой. В цехе среди рабочих. Дома с ребятами... И очень мне хотелось теперь посмотреть, как он будет выбирать себе балалайку.

У него с собой был старый «ФЭД», еще тот, с каким он, когда только что к нам приехал, обошел стройку, чтобы увидеть, с чего ему тут придется начинать, и с каким шоферы, эта бедовая братва, привели его тогда в поселковую милицию: говорит, что свой, но вот какое дело—в выходной день ходит и снимает все подряд, даже растворный узел, который давно пора сжечь, и тот на пленку... У самой кромки моря, так, чтобы видно было и чаек и маленькое рыбацкое суденышко, мы с ним друг друга сфотографировали, а потом кого-то из прохожих попросили снять нас вместе.

Долго шли берегом на захат, и он мне сказал: — А ты знаешь, я тут как-то подумал... Тебе не приходило в голову, что ты здорово виноват перед Запсибом?

Я остановился: — Это как?

— А давай-ка рассудим: почему Братск гремит? Только и слышишь: Братск! Братск!.. Или КамАЗ, предположим? А теперь БАМ?—Он прищурился.—Да, кроме всего прочего, потому, что писатели, которые туда приезжают, потом так и пишут: было в Братске. Было на КамАЗе. Не стесняются адрес назвать. И вольно или неволью славу создают. А ты, слушай, столько прожил на Запсибе, а все куда-то в сторону уводил. Придумал Авдеевскую площадку вместо Антоновской. Сталегорск вместо Новокузнецка. Какая Авдеевская площадка? Какой Сталегорск? Потому-то о Запсибе никто и не знает!

Говорил он вроде бы шуточно, и строгость, которая иногда появлялась в голосе, была напускной, но меня это задело всерьез: а правда!

Долго я и тогда об этом думал и теперь нет-нет да и возвращаясь к этой мысли: как же так, действительно, вышло?

Запсиб, что называется, взрастил меня, и трогательную его заботу обо мне никогда не забыть. Одно дело, что здесь я увидел такое, о чем не написать было просто нельзя. Другое—это отношение ко мне как к человеку, который «про нас напишет».

Бывает, заплывешь на какой-нибудь крошечной детали и начинаешь тогда хмурить лоб, выхаживать положенные тебе километры. А мне иногда достаточно было надеть сапоги, выйти из дома, поднять руку и забраться в «коробочку».

— Предположим, братцы, вот такая история... Как бы вы?.. И камешки Володи Иванова устраивали перекур, и разговоры у нас были такие, что помню их и сейчас.

Потом было следующее: я жил в Новосибирске, «првожал» в печать первую свою большую книжку—«Здравствуй, Галочкин!». Вместе с редактором мы тогда придумали сцену аварии—что же это за «производственный» роман без хорошей аварии?—и мне надо было ее написать, но я



# Записки...

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

все сомневался в деталях, а пойти в незнакомом городе и посоветоваться было куда. Но мне повезло: однажды в гостиничном ресторане за столиком я услышал разговор, из которого понял, что соседи мои строители, да не какие-нибудь—кандидаты наук! И я, извинившись, робко начал объяснять ситуацию: может случиться такая штука? В главный корпус недостроенного завода железобетонных изделий затаскивали оборудование, чтобы оно не мозолило глаза приехавшей на стройку высокой комиссии, а там, как на грех, лопнула труба, и вода стала заливать это оборудование...

Один из моих собеседников понимающе усмехнулся: — Снабженец? Угробил, а теперь списать хочешь? И на сколько ты его?

Другой наклонился поближе, поинтересовался: — Импортное?

Тогда я впервые понял, что такое — оторваться от матери-стройки.

А что была она, как мать, это точно. До сих пор у меня в бумагах хранится одна любопытная записка...

Я тогда уже ушел из редакции, был, как говорится, на вольных хлебах, но за всякой надобностью по-прежнему обращался к старым своим шефам. В тот раз попросил разрешения вдали от шума пожить на пустыющих зимой трестовских дачах, и заместитель управляющего Иван Максимович Молчанов на фирменном своем бланке размашисто написал: «Писателю треста «Кузнецкметаллургстрой» такую-то предоставить...»

Главный диспетчер Петр Никанорович Стародубцев, добрая душа, не раз и не два звонил в это время: «Ну, как ты там? Может, зубы на полку? Так ты давай честно, пришло тебе с Володей рублей пятьдесят...»

Так где же все это действительно было? На Авдеевской площадке, что под городом Сталегорском? Или у нас на Записке?

Так-то оно так, да есть в этом деле и другая сторона.

На факультете журналистики я был в семинаре у Василия Петровича Рослякова, известного теперь писателя. Тогда мы, помню, не одно занятие и не два посвятили проблеме соотношения в очерке правды и вымысла... А потом, когда я поехал работать на Антоновскую площадку, все для меня в этом смысле решилось очень быстро. В первом своем очерке одного молодого шофера я назвал рыжим, и на следующий день после того, как вышла газета, под окнами нашей многотиражки затормозил «МАЗ», открылась дверца, и парень, не вылезая из кабины, стащил кепку и выставил макушку в раскрытое окно:

— Рыжий, да? Рыжий? А это ты видел?

И приподнял с пола монтировку.

Другое дело кто-либо из заезжих газетчиков! Назвал тебя хоть серо-буро-малиновым—он теперь далеко.

И когда начал я писать, стал невольно хитрить, но спрятать концы в воду так почти никогда и не удавалось. Дотошный записовщик все равно до всего докапывался. И сущее мучение было выслушивать отзывы о своих книгах:

— Интересно, ты знаешь, интере-е-сно! Несколько дней уже с утра и до вечера думаю... Вот там у тебя прохидей этот, прораб,—это кто? Такой-то или такой-то? Скажи честно.

Кто сам себя вдруг узнавал, хоть было на то и не много оснований, а кому друзья и знакомые терпеливо растолковывали: да это ведь ты!

И кто-то потом здороваться начинал с тобой теплее обычного, а другой при встрече демонстративно, что называется, отворачивался... А в итоге выходит вот что: ничего не сделал для славы Записки!

Но тогда, в Прибалтике, с чувством вины рассуждал я не только об этом. Была во всем еще одна подробность, которая касалась лично его, Ивана Григорьевича Белого.

Всегда я по мере сил от прототипов открещивался, все пытался скрывать это сакраментальное для записовцев «кто есть кто». Но удавалось это, во-первых, не всегда, а, во-вторых, другой раз и сам думал: а чего скрывать-то? Кто-то и в жизни хороший человек, и в книжке у меня герой положительный. Зачем же в таком случае отпираться? Пусть будет, ему на добрую память.

Так вот однажды и взял я на себя смелость согласиться: да, секретарь парткома большой стройки Банников из книжки «Здравствуй, Галочкин!»—это он, Иван Григорьевич Белый.

А теперь у меня вот-вот должен был выйти новый роман о той самой Авдеевской площадке, одним из героев его опять

был Банников, и я уже заранее переживал... Как ни оберегал я придуманного мной секретаря парткома от всего того, что могло бы или огорчить, или, предположим, в неловкое положение поставить человека реального,—удалось ли? Заранее уже придумывал я длинные оправдательные речи, и они то казались мне вполне убедительными, а то совсем беспомощными... Сложная это штука! И еще там, в Прибалтике, отзвываясь на приглашение Ивана Григорьевича Белого приехать на Антоновскую площадку, я твердо решил и в самом деле поехать. И выслушать все, как говорится, на месте. И получить свое.

Разве я виноват, думалось в поезде, что так придумываются мои сюжеты? Не так-то просто их и повернуть из стороны в сторону. Ясно, что одно я добавил, а от другого почему-либо отказался...

И невольно припоминались десятки подробностей, которые не вошли ни в одну из книжек и которые на самом-то деле были, может, куда интереснее того, что вошло.

Весною шестидесятого, после того, как стройка, тогда еще крошечная, пережила трудную зиму, у нас прошел слух: приезжает новый парторг. Работал заместителем заведующего отделом строительства в обкоме, дядька, говорят, ничего, да только по образованию металлург и в строительстве ни бельмеса не понимает. Будет ли из такого толк?

На Антоновской площадке создавалось тогда и действительно тяжелое положение. Осенью прибыла наконец рабочая сила—больше тысячи демобилизованных солдат. Рассказывали, что там, в частях, за путевку на Западно-Сибирский чуть не дрались, и ребята приехали как на подбор. Но вот беда: Госплан не спешил с постановлением о развертывании строительства, в Кузбассе пошли слухи о консервации, и загодя уже стройку обдирали как липку—на угольные разрезы отправляли наши экскаваторы, самосвалы, бульдозеры. Управляющий трестом Николай Трифонович Казарцев, один из тех, кого в любом деле называют партизанами и кто, не имея под руками ничего, держится на одном только дерзком своем характере, был в это время и в самом деле похож на окружающего, который решил во что бы то ни стало продержаться и сохранить армию.

За стройку надо было драться, и когда рядом с массивным, с крупными чертами лица и громовым, словно олицетворяющим власть голосом управляющим увидели щупленького и тщедушного парторга, невольно подумали: а ровня ли? А помощник ли?

Все, какие были тогда на стройке, кабинеты он обошел сразу после конференции, но поближе мы с ним познакомлись, когда пришел к нам домой.

В это время комсорг стройки Слава Карижский отдал свою квартиру кому-то, кто очень в этом нуждался, и перешел ко мне, а потом к нам присоединился главный спец по воде и по теплу в нашем поселке—механик жилищно-коммунальной конторы Юра Лейбензон, тоже поселившийся у себя кого-то семейного.

Припоминая прошлое, я часто мысленно благодарю судьбу за то, что в ранней молодости она послала мне таких друзей...

Высокий, в темно-зеленом лыжном костюме и в кирзачах сорок пятого размера Слава с неразлучным своим мотоциклом—то как угорелый носится на нем целый день от бригады к бригаде, а то, горбясь, с дальнего участка терпеливо ведет его поздней ночью в поселок... Когда мы жили вместе, телефонный аппарат он ставил на ночь на табуретку около кровати и первым из нас, если что, высказывал из дому.

Широкоплечий и коренастый, с носом, словно у старого боксера, Лейбензон попросил себе место около батареи и спал, положив крупную руку на ребристую поверхность. Ему ведь другой раз предпочитали и не звонить, и он, сквозь сон ощутив под ладонью холод, нащупывал под подушкой фонарик, тихонько поднимался и, стараясь не шуметь, без вызова уходил в ночь.

Гитара его, которая стала теперь одним из экспонатов Кемеровского областного музея, висела тогда не над кроватью, как, может быть, полагалось бы, а на гвоздике у самой двери в коридоре. После какой-нибудь аварии, из-за которой три или четыре дня поселок мерз или сидел без воды, он возвращался в грязных сапогах и в мокрой одежде и, забравшись на наш пятый этаж и от этого вконец обессилив, садился у порога на пол, спиной приваливаясь к стене, снимал со стенки гитару и долго сперва трогал струны, будто не ей настраивал, а себя.

И потом только стаскивал с себя сапоги и добирался до кухни, хотя, ей-богу, бывало, что мы и кормили его сначала здесь же, в крохотном нашем коридоре, и сами садились с ним рядом, начинали негромко подпевать...

Жили мы тогда, конечно, коммуной, жили славно, и память об этом житье до сих пор светит мне в самые непогожие дни.

В начале мая я получил с факультета телеграмму—приглашали приехать на традиционный праздник, на День печати. Для порядка я повздыхал, конечно, и понарошку поныл: люди там соберутся сегодня в уютном клубе на Герцена, и кто туда только не придет, а ты в это время будешь месить тут грязь от промбазы до поселка... Но недаром же я сказал о славно нашем житье!

Под каким-то предлогом Карижский задержал меня на работе дольше обычного, а когда я пришел наконец домой, глазам своим не поверил: посреди маленькой нашей комнаты стоял стол, который ломился от местных деликатесов—рассыпчатой вареной картошки да первой черемши со сметаной,—а напротив висел на стене громадный лозунг: да здравствует, мол, советская печать, а также славные ее представители на ударной комсомольской стройке Записки.

Я стоял потрясенный, а друзья мои торжественными голосами наперебой вели репортаж:

— В нашем зале, украшенном транспарантами, появляются высокие гости...

— В президиуме вы видите...

В это время в дверь постучали.

Уже само по себе это было необычно. Кто и когда стучал в нашу дверь? Она никогда не запиралась, ее просто толкали рукой и что-нибудь такое дружеское кричали с порога.

И мы мгновенно простояли в недоумении. Стук повторился, и на пороге вырос наш новый парторг:

— Не помешал?.. Вот они чем тут занимаются! Я думал, они в это время разошлись по общежитиям, с молодежью беседуют, а у них тут своя теплая компания...

Усадили его, конечно, за стол, и рюмку—то есть на самом деле граеный стакан—он ради праздника поднял, но глоток сделал совсем птичий и весь вечер потом над недопитым своим вином, хорошо еще, что оно у нас нашлось, так и присидел, чем, естественно, очень сдерживал ход нашего торжественного собрания...

Когда он ушел наконец и мы стали наливать себе поплотней, цель, ради которой устраивался праздник, давно уже была забыта, даже в Москву мы не стали звонить, а все рассуждали теперь о нем, о новом секретаре парткома. Продолжали говорить, когда укладывались, и уже засыпая в разных углах, единогласно вынесли окончательное и бесповоротное: сухарь сухарем. Бедный Казарцев!

По стройке тогда уже пошли анекдоты, как Белый «воспитывает» Казарцева. Рассказывали, как решили они вместе объехать стройку, но на первом же объекте, увидев беспорядок, управляющий разразился такой забористой бранью, что парторг повернулся и дальше пошел пешком. Трестовская секретарша Ниночка доверительно пожаловалась мне как-то, что Николай Трифонович форменно подступил к ней с допросом: уж не звонит ли она в партком, когда в кабинете у управляющего начинается подчас излишне горячий разговор?

Я тогда попробовал пошутить:

— А кто вас, Ниночка, знает?

— Бывает, он сам звонит—это другое дело,—будто сама с собой рассуждала все еще обиженная Нина.—Кто там сейчас у Николая Трифоновича? Я отвечаю. Когда вообще не идет, а когда так просто бежит. Заткните, говорит, Нина, уши—я дверь сейчас приоткрою. Приоткроет легонько и вежливо так: не помешаю, Николай Трифонович?

Бедный и в самом деле Казарцев! Был он человек добрый, самоотверженный и щедрый, его на стройке любили. И он тоже любил эту шумную ораву первопроходцев, где-то далеко оставивших и теплый дом, и налаженный быт, и маму, может быть, с папой. Любил и готов был ради нее и пострадать.

Где-то в высоких инстанциях затянули решение о строительстве клуба, а молодежь на стройке было уже вон сколько, где ты ее зимой соберешь, и тогда он дал срочное задание проектировщикам, снял с промбазы несколько лучших бригад и бригадирам велел по всем вопросам обращаться

Продолжение на 27-й стр.

# МОЛЧУН КОСОЖКИН

Александр ПЛЕТНЕВ

РАССКАЗ



Писатель Александр Плетнев живет и трудится неподалеку от Владивостока, в угольной столице края — городе Артеме. Плетнев — участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей. Недавно вышла книга его рассказов «Чтоб жил и помнил» (Дальневосточное книжное издательство).

Язык рассказов молодого прозаика веский и ясный, язык человека, привыкшего к упорному труду, знающего цену приманчивым пустопорожним красивостям. Слово крепко подогнано к слову, фраза надежно прилажена к фразе. Дела и дни Александра Плетнева прочно связаны с расцветом Дальнего Востока: он работал в сибирском колхозе, служил на Тихоокеанском флоте, выдавал на-гора уголь. Поначалу повествование Александра Плетнева может показаться несколько суровым, но стоит вчитаться, вдуматься, познакомиться с рабочими и инженерами, с ребятами и работниками, со всеми, кто окружает литератора в жизни и оживает на страницах его рассказов, это впечатление рассеивается, и за скупой, деловой фразой видятся такая сердечная теплота и нежность, такая искренняя любовь к другу-труженнику, что невольно начинаешь понимать глубже непререкаемую истину: мир земной в конечном счете преобразуется не стальными громадами машин, а всеильной, с виду такой беззащитной душой человеческой.

Сергей АНТОНОВ

**Ф**

едя Косожкин пришел с ночной смены усталый не столько от работы, сколько от нехватки воздуха: забой далеко прогнали, и воздух терялся в стыках капроновых труб. Пустой конец трубы еще и сейчас колебался перед Федимиными полуприкрытыми глазами, будто в знойный день тряпка. Побаливала голова, и хотелось спать. Он лениво торговался с женой Еленой, не хотел ехать к сыновьям в пионерский лагерь. Да как торговался-то? Лежал еще не раздетый на кушетке, молчал, да и все. Дочки Валя с Олей по нему ползали. Елена стояла перед ним, доказывала, что надо ехать.

— Ну? Дадут они тебе поспать? Ага, дали! — В ее оплывшем лице появлялось подобие строгости. — Федя, езжай!

За недоговоренностью слышалось: а то хуже будет.

Федя улыбался одними глазами — ему нравился командирский тон жены. Строгость Елены никогда не могла пробиться через ее доброту.

В электричке он немного подремал, раздражил себя сном — к лагерю подошел совсем ослепшим. Младший, Вася, степенно и старательно «ел блины»: пригнется, кинет плоский камешек, посчитает, сколько раз камень отскочит от воды, и долго стоит, что-то соображает. Увидел отца, пошел навстречу.

— Где Петька? — спросил Федя ватным голосом.

— Счас позову.

Федя бросил в тени клена кусок одеяла, лег. День набирал жару: речка булькотела, слепила глаза отраженным солнцем. Из-за леса слышались детские голоса да неумело, по-гусиному, кричал горн. Глаза Федины смежались, голова, вздрагивая, клонилась. Федя силился не уснуть.

Пришли сыновья, по поясу голые, не по возрасту маленькие, крепкие, с белыми хохолками волос, сели рядом, ожидающе уставились на отца.

— Как кормят?

— Хорошо, — не сказали, а прошелестели.

— Слушаетесь?

Братья дружно кивнули.

Федя пододвинул им кулек карамелек-подушечек, что в быту называют «дунькиной радостью».

— Купайтесь.

— Вода холодная, — сказал Петька. — Тамара Михайловна не разрешает.

— Купайтесь, — позволил Федя.

Он еще видел, как сыновья снимали штанишки, потом, взяв в рот по конфетке, пошли в воду без вздрогов, только по напряженным их спинам понял — вода действительно холодная. И тут же, едва головой коснулся одеяла, уснул.

— Папа, вставай, уже вечер.

Федя сел, распаренный, — тень давно уже отодвинулась, — но с легкостью в теле и в голове, только в глазах еще мельтешили остатки сна. Сыновья стояли синие, с крупной гусиной кожей, с плотно сжатыми фиолетовыми губами. «Перехлюпались», — подумал Федя и спросил:

— Обедать ходили?

— Ага. Тебе вон принесли, — показали на кусок хлеба с поджаренной колбасой.

Есть Федя не хотел, к тому же в авоське лежал у него обед, но он, полнясь к сыновьям любовью, улыбнулся им одними глазами. Ответили они ему тем же: чуть сощурились.

— Нам идти надо.

Пошли две уменьшенные Федины копии и не оглянулись, не отвлеклись ничем, как солдаты в строю. Федя, собрав на переносе две вертикальные морщинки, глядел вслед сыновьям. Его крепкое, маленькое лицо было по-детски простое, бледноватое. Белесые, едва заметные брови насплены, аккуратные губы чуть кривились, будто он собирался что сказать или улыбнуться; в карих, под припухлыми веками глазах таилось постоянное раздумье.

Ему было хорошо оттого, что выспался, что в размягченном теле накопились силы, которые так приятно чувствовать в себе привыкшему к тяжелой работе человеку, и вообще хорошо, да и все. Только пить шибко хотелось. «Остыну, испухаюсь и поью», — думал, раздеваясь.

Солнце уже дробилось за верхушками деревьев; ветерок заперевирал торопливо листву, да раздумал, осел в тень прохладиться. Подняв руки, Федя сушил подмышки, стоял маленький, игрушка игрушкой, весь перетянутый жгутами мышц, потому его кожа, мало видевшая солнца, и вовсе казалась тонкой, с прозрачной синевой. Федя никогда не думал о своей внешности. В шахтерской бане он не стеснялся наготы и все не мог понять, почему это Елена стесняется при нем раздеваться.

Казалось, Феде ничего не надо от жизни. Он мало спал, ел тоже мало, не любил сладкого. Носил он и в праздники и в будни один и тот же суконный костюм, рубашки сиротского цвета, серенькую кепку, и как-то незаметно было, когда одежда на нем изнашивалась и заменялась новой. Со стороны поглядеть, так будто миновали его радости и печали, ненависть и любовь — словом, все то, чем живут люди. Федя, как река подо льдом: вот берега, вот русло, но где заводи, где перекаты — ничего не видно. И только, может быть, Елена да напарник по забоя Василии Багин умели угадывать все живучее в Феде.

Багин прогонистый, крепкий, как жила, а руки — прямо от узких плеч бревнами, сложи их вместе — толще туловища будут, лицо — топор. Сам шумливый, а доброты, что у овцы.

— Поставим вот так крепь? — спрашивал он у Феде.

Федя глухо гукал себе под нос, вроде откашливался, сдвигал бровки, и Багин взрывался:

— Чего не согласен-то?! Этак, что ли? Ну и говорил бы сразу, а то разорался!..

Они часто беседовали и даже спорили.

— Ну, — спрашивал Багин, — как сыновья-то учатся?

— Да ходил... — Федя старательно глядел в пол, морщил крутой лоб.

— Вот балбесы! — возмущался Багин. — Ты их почаще ремнем пугай. Я своего...

В Федеином лице что-то едва заметно менялось, он делал слабый жест рукой. Для Багина это было как целая речь.

— Ты говоришь — нет, а я тебе другое скажу: ремень — средство верное. Это в семьях ученых... А нам без ремня никуда.

— Ничего, — выпускал Федя слово.

— А ты не горячись. Подожди, послушай...

Елена рассказывала соседкам:

— Отругал меня сегодня. Спит, а я караулю, чтоб на смену не проспал, и сама задремала...

А вся «ругань» в погукивании да: «Ты это...»

Лет десять назад Феде в шахте переломило руку. Страшно переломило: разорвало мышцы, оголило кость. Багин вел его до подземного медпункта, уговаривал:

— Потерпи, Федя. Сейчас укол — и все... потерпи.

Федя нес здоровой рукой искалеченную, молчал, и лицо его ничего не выражало, только гуще обычного покрывало потом. В медпункте врач «Скорой помощи», молодой усатенький парень, залил чем-то рану и стал выковыривать из нее осколки угля. Федя глядел, как роется врач в его ране, а тот просил:

— Ты отвернись, чего тут интересного. Больно?

Федя молчал.

И тут не выдержал Багин.

— Что ж ты делаешь, хрен моржовый! Укол пожалел, а долбишься, как дятел. Человек криком кричит, а он!..

— Терпит же... — растерялся врач. — А морфий в больнице. — И, торопясь, стал накладывать шину, а Федя повалился в обмороке.

— В забой бы тебя к нему! Он бы из тебя сделал человека! — рвался голос Багина на слезу. — Ты бы чуял болячки!

Федя погружался в речку, как в теплую ванну, хотя ледяные струи пронизывали до костей. Он поплыл к другому берегу, с наслаждением приглатывая, остужая себя еще изнутри. Коснувшись рукой дна, повернул и увидел под кленом женщину в белом халате. Федя вышел на песок и не знал, что делать. — женщина, поджав под себя ноги, сидела на его одеяле и улыбалась ему нетерпеливо как-то и просветленно.

— Ну иди же, Феденька, поздороваемся.

Федя узнал забытый голос, а лица не узнал, и ему сделалось так холодно, будто внутри у него был лед. Он попятился в воду, ощутил ступнями, что отмерзают, и подумал со страхом: как это мог только что весь быть в воде? И он пошел под клен, одно только соображая: нужно взять одежду и как-то одеться. То, о чем он мечтал пятнадцать лет — увидеть когда-нибудь Тамару, — произошло до противности не к месту. Было ему невыносимо стыдно стоять перед ней голым, в прилипших к телу сатиновых трусах. Немая от холода, он взял одежду, искося увидел плечо Тамары, раковину уха, и стало ему восторженно-страшно, потому что все это было похоже на сон, как и много раз и в самом деле, когда видел Тамару во сне, — страшно и радостно до озноба. Он оделся за кустом ивняка и долго стоял, думал, что сейчас выйдет под клен, а там никого не будет. Вышел и обрадовался: Тамира сидела, не исчезла, ждала его, глядела строго, без улыбки. Федя все это увидел коротко, одним — исподлобья — взглядом и спохватился: что это он поверил в голос, ведь лицо-то не ее? Сел поодаль, стал глядеть на реку.

— А я знала, что к сыновьям приедешь, — сказала, и Федя едва удержался, чтобы себя не выдать, — столько лет держал в памяти этот голос, а в последние годы не смог удержать, и ему было плохо жить с безголовой Тамарой в памяти.

— Я медсестрой тут работаю, а живу рядом, в поселке. Ты чего, посмотреть на меня не хочешь?

Федя не знал, что говорить, — слова-то и так в нем, как уголь в целике, а теперь и вовсе грудь будто цементом стянуло. Ему хотелось, чтоб Тамира ушла, и хотелось заплакать.

— В списки гляжу — Косожкины. Увидела их, боже мой! Ты и ты. Расспрашиваю о тебе... Да где! Слова не вытянешь — оба в тебя. И такие хорошенькие, здоровые ребята. Рядом, считай, жили, а столько лет...

Потом она долго молчала и рассматривала Федею. Он чувствовал, что Тамира его рассматривает и ждет, когда он заговорит, и думал о том, что сейчас он уйдет и не встретит ее уже до самой смерти. Река мягко разговаривала, шуршала осока, заря взнялась высоко и весело, и Феде хотелось запомнить эти звуки, зарю — запомнить, как когда-то давно-давно запомнил холодный, ветреный октябрьский исход дня в пришахтовом сквере, гремевший шум тополей, никак не хотевших раздеваться перед зимой, и рядом с собой Тамару, и ветер между ними, тугой, как стену, и боль, — у него тогда после драки с Гореевым болело не лицо, а где-то в груди и около горла...

А сейчас он услышал шорох Тамариного халата, мягкие шаги. Она села совсем рядом, тронула за руку.

— Феденька, неужели... все так же? Я вот... У меня... — замялась. — Неужели ты совсем не изменился?

Он пересиливал себя, чтоб не посмотреть ей в лицо, опасался, как опасался в шахте выбивать рудостойку: выбьешь, тогда обвал.

— А я все помню: шахту, и седьмой участок, и насыпку, — говорила так близко, что он чувствовал, как ее слова горячо и мягко обтекали его лицо. — А тебя, так всегда. Вспомню — и грустно, грустно... Ошиблась я, Федя, — взлетел голос в веселую надрывность. — Ты, как девочка, был, а я за ветрым мужиком побежала. Не удержал вот!

— Чего-о?! — Федя даже привстал, пораженный. «Значит, я... Она ни при чем? Врет! Врет! А если вправду?..» Федя боялся этой правды, ибо он возненавидит тогда Тамару, не эту, что теперь перед ним, а ту, давнюю, которая жизни его давала тяжелый, но необходимый смысл. А может, перед ним не Тамира? Голос ее и глаза вроде ее, а лицо чужое: нос, щеки, подбородок — тоже не ее, и за округлостью, за припухлостью бабьей ни за что не разглядеть нужную ему Тамару.

— Не веришь, да? Ну, вижу, тяжело тебе было. А мне, может, в сто раз тяжелей. Ты из-за меня мучился, а я из-за себя, дуры.

Губы Тамары кривились, дергались, в глазах влага копилась. Федя сел, отвернулся.

— Мне на работу ехать надо, — сказал с прорывом в голосе.

— Ну вот, заговорил! — обрадовалась Тамира. — Детей-то сколько?

— Четверо.

— Видишь как, — сказала она задумчиво. — Детям, наверно, с тобой хорошо.

Федя чуть двинул плечами; дескать, не знаю.

Наступил час, когда еще все четко видно, но уже не как днем, а будто через очки дымчатые, и вот-вот сразу по-южному затопит все тьмой. Месяц в воде вытягивало, rvalo на кусочки и опять сливало, будто желтые рыбы играли у поверхности. Резко вскипал торопливый шум поездов, проходивших к большому морскому городу, и напротив заглохал среди лесистых сопок.

— Приезжала я через два года на шахту. Слышишь, Федя? Приезжала. Как раз вторая смена меняла первую. Сидела в сквере, ждала. Думала, увижу тебя, заберу с собой. Не дождалась, наверно, ты в ночь работал.

— А Гореев? — произнес Федя ненавистное ему имя.

— Что Гореев? Жила с ним тогда и теперь живу.

Федя поглядел на часы.

— Успеешь ты на свою шахту, — нетерпеливо сказала Тамира, — и прогул сделаешь, так ничего. Наверно, за всю жизнь прогулов не делал — тебе простят. Давай повспоминаем наше. Короткое оно было, да не чужое.

«А что ей-то вспоминать? Надсмехается, что ли?» Ему не хотелось, чтобы дорогое и тайное трогало даже она. Трудно разобраться и понять то, о чем она теперь говорила, — так это все было неправдоподобно и так поздно. Но одно стал понимать, что с сегодняшнего дня, вот с этого часа дорогое это и тайное стало в нем умирать. И причиной тому было сама же Тамира, потому что и росла к ней неприязнь: «Откуда ты свалилась такая?» И раньше-то нет-нет да отчаяние охватит. «Когда же она умрет?» — думал тогда о Тамаре, имея в мыслях, конечно, не настоящую ее смерть. Но она не умирала. — Ладно, пускай как есть, так и будет».

И жила Тамира в памяти наравне с самым дорогим, что нужно было ему для жизни, — с таежной, закончившей свой век деревенькой Васильевкой, где детство и юность Федеи прошли будто бы незаметно. Семья Косожкиных зимой занималась охотой, летом заготавливала корень женьшеня, пробковую кору, ягоды... Словом, делала то, чем промышляли прадед и дед, и Феде в голову не приходило, что можно где-то, кроме Васильевки, ему жить и делать другую работу. Вечны были почерневший от времени большой дом, семья, как вечны сопки, река Славянка, тайга... Но не пришел с войны отец, а потом, уже в мирное время, после службы не вернулись в деревню живые братья. Федя, когда пришел его черед, служил в стройбате, все еще не веря в то, что Васильевка кончилась, что никогда уже не соберутся родные за длинным дубовым столом, в котором он помнит все сучки, что заглохли от бурьяна огороды и улочка, и без людей, что разъехались по городам, как-то сразу обветшали и разрушились дома и постройки. Демобилизовавшись, он только одну ночь переночевал в затхло-пустом, с опаской прогнувшимся потолком родном доме. Коротал ночь, не спал, как не спят у гроба. Высокая луна была в пыльные окна, и Феде чудились голоса на дворе, сладкое похрапывание во сне братьев, лай собак. Он выходил на крыльцо, долго вглядывался в бывшую улицу с бугристыми отметинами вместо домов...

Утром в голове стучало, ломило от бессонницы. Он уже ни о чем не мог думать и, чтобы не мучить себя, пошел на кладбище. Весь росой облился, пока вышел к крестам; в зарослях травы ступился в просевшую могилу, поднялся, будто и вовсе из воды вынырнул. На материн крест тяжелой шапкой навалился дикий виноград, и Федя большим складным ножом долго, с каким-то злым отчаянием полосовал витые стебли, отбрасывая, выдавливая из себя: «Ы-ы-ы, ы-ы-ы...». Сел утомленный, под громадную ель на пружинистую хвою, навалился на ствол. Вспомнил отцовское: «Мать-земля, дай силы!». Отец ложась на ночь у костра, всегда так говорил.

И, чтобы опять не болеть душой, быстро направился напрямик к дороге, обходя пустыри и не оглядываясь.

На шахту Федя пришел зрелой осенью. После ночной бури с ливнем утро покоилось теплое, солнечное. Весь пришахтовый двор был завален пестриной листвы и мелкими ветками. Это состояние тепла, света и тревожной ломкости осталось в Феде на долгие годы.

Впервые ожидал у ствола клеть, а она где-то погромыхивала в далекой глубине, и не было конца ожиданию. «Скорей бы, скорей!» Душа не в силах терпеть загадки. А потом сам падал с клетью вниз, и внутри захватывало, уплотнялось что-то повыше сердца. Будто сам Федеи дух в восторженном испуге норовил проломить грудь, улететь на-гора, под солнце.

А в шахте своя даль да ветер, да гнутые и ломка крепления над головой. Долго шел за Багиным в рост, а потом где пригнувшись, а где ползком, и в голове одно: «Увижу солнце еще, нет?»

В лаве у него произошла встреча... с тайгой. Рядами, вширь и вдаль, на сколько могла осветить его лампочка, стоял лес: пихта, ель, сосна, лиственница, и все это с натугой удерживало страшную тяжесть нависших сверху пород. Лес покрывал, стонал, как живой, темнела от выдавливаемого сока кора, некоторые лесины были подломаны, будто хотели встать на колени, попросить пощады, но все не падали, и тяжесть с их ослабевших плеч брали на себя их сестры. Федя потрогал кору молоденькой ели, оглянулся, чтоб не заметили навалотбойщики, прикрыв глаза, прижался щекой к ней, и какой-то свет ударил, осветил всего его изнутри, будто Федя был не в подземелье, а в Васильевке, за огородами в прореженном ельнике: «Ты-то зачем сюда?.. Как же ты?.. Опять вместе!»

... — Ты мне, конечно, не веришь, — говорила Тамира уже из тьмы. — Сколько я передумала о тебе за эти годы. Работу подземную прямо ненавидела. Выскочила с Гореевым из шахты — рада была раденька. Да и до того, как тебя увидела, случилось у нас с Гореевым это... ну, беременная я уже была. Молодая, чего, думала — лучшего нет на свете...

— Уже тогда-а?! — У Феде аж в ушах зазвенело, а в глазах мухи красные замелькали: «Во-он что?! А я-то все: святая! Душу от детей, от Елены...»

— Феденька, а разница-то?.. Раньше, позже... Приехала с ним сюда, а вскорости как навалилась тоска по тебе! Чего бы не отдала, чтоб опять под насыпкой оказаться да чтоб бункер забутился, ты бы прибежал из лавы да и помог... Помнишь, голый по поясу, потный прибежал, молчун ты разломчун, мука ты моя?

Тамира отыскала Федину руку, быстро-быстро стала перебирать его пальцы.

— Маленькая какая рука, а железо железом, — частила скороговоркой.

Внезапно и сильно притянула ее к своему лицу. Крепкий ноготь его ткнулся в нежную кожу. Она чуть отпрянула и снова торопливо прижалась раз и другой губами к стеклянистым мозолям на ладони.

«Порежется же вся». Ему никогда в жизни не было так хорошо и стыдно

тоже — вот будто сейчас смотрит на него с Тамарой глазами, полными слез, его Елена. «Что же ты, Федя?» — спрашивает. Он отнял руку, и грубо это у него получилось.

— Не веришь, да? — В голосе Тамары было отчаяние.

Верил, не верил — не до того теперь было. Смялось в душе, размолось в крошево все, что так бережно хранилось. Федя уронил голову на поджатые колени, сперва вроде закашлялся, а потом этот кашель перешел в протяжное, сдавленное «ы-ы-ы...». Тамара подняла его голову, сунулась лицом.

— Это все я... Это я, Феденька, что теперь делать?

Он высвободился. Так и сидели, замерев. Первая тьма ослабела, наверное, оттого, что набрали силу, накалились звезды и месяц поглубел; Тамара хорошо видна была и даже, кажется, румянец на ее щеках, должно быть, оттого, что белый халат сам высвечивал круг, как фонарь. «Что ей делать!» — У Феде что-то тяжелое копилось в груди, поднималось к горлу. — Поди, детей куча, а спрашивает».

В те дни впервые в лаве Федя не чувствовал уже необычности. Будто он уже давно наваливает на конвейер лопатой уголь и привычно, непугающе, нависает над головой кровля, под которую он умело ставит рудстойки; некоторые из них незаметно для глаза ломались, обнажая в местах излома волокнистую белизну, но Федя не шарахался от них в испуге, как обычные новички, — какая-то внутренняя горняцкая мудрость подсказывала ему опасность и мгновенную и ту, которую надо иметь в виду на потом. Время было маломашинное, лопата — главный бог, и Федя сразу догадался, что такое «сесть на почву», пробиться в тесноте через взорванный уголь до леденисто-скользкой земли. А там уж пошло-поехало: лопата в уголь по почве идет, как в тяжелую воду. Его руки часто, но с экономией силы зачерпывали подборкой уголь на всю ее возможность, чтоб не махать полупорожней зазря, и уголь с шорохом стекал под ноги, заметно убывая.

— Ну и муравей-великан! — удивлялся Багин и предостерегал: — Гляди, смелых да умелых шахта тоже бьет, а особенно совестливых. Поглядывай.

И будто не в новость для него было, когда останавливался конвейер, и шахтеры возмущались:

— Опять насыпка!.. Федя, беги разберись!

Федя, голый по пояс, выскочил из жаркой лавы под ледяную струю свежего воздуха и чуть не сбил с ног венчающийся каской тряпичный куль.

— Чего тут?..

— Бункер забутился-а! — пропищало изнутри, и Федя увидел за овалом платка широковатые скулы, нос сапожком, детские вывернутые губы и заплаканные глаза насыпщицы Тамары.

Он забрал у нее клюку и стал пробивать в люке пробку.

— Простынешь ведь! — Тамара суежилась, накидывала ему на плечи ватник, мешала работать.

Уголь хлынул в вагонетку, грозя пересыпаться через края, и Федя закрыл люк.

— Чего не ругаешься? Все ругаются, а ты?.. — Тылом ладони она терла глаза. — Будутся и бутятся, а канат на ледечке рвется-а...

Нужно было уходить, но он еще смотрел, как Тамара, повиснув всем телом на рычаге, билась на нем; крышка люка подавалась шажками, и уголь тек из переполненной вагонетки на почву.

«Зачем она сюда пришла?» — подумал, жалея ее.

— Я больше не задержу лаву, ей-богу!

Федя не мог ее больше слушать. Виноватая, беспомощная, какая-то будто напуганная, она все стояла перед глазами и мешала работать.

Вскоре увидел Тамару в раскомандировочной, где было полно мужиков и разговор шел по-русски крепкий. Она вошла, и гомон смялся. Тамара села на стул у дверей. В бордовом костюме, в бумажных чулках, туго обтягивающих колени, она показала Феде крупней и крепче той, какую увидел ее в шахте, только лицо было тем же, по-детски робким. Ей некуда было глядеть — кругом мужские лица, а их взгляды тянулись к ней, одни — совестясь, украдкой, другие — в открытую, и Феде эти взгляды казались оскорбительными для Тамары; ему было стыдно за нее и хотелось, чтобы она поскорее ушла.

— Чего пляшешься? Сладенькая, да? — Навалоотбойщик Гореев навис над Федей, полушепотом пробасил: — Ну, погляди, потешься.

Федя снизу покосился на Гореева и поразился невероятным размерам его головы и толщине надбровья, где, казалось, могла бы свить себе гнездо ласточка. И все равно красивая была у Гореева голова.

«Скажет что еще — и буду с ним драться».

И это решение как будто приблизило его к Тамаре. И, наверное, с того часа он и стал думать и чувствовать не только за себя, но и за Тамару, воображая, как прямо-таки чудовищно грубы и противны будут для нее все парни, кроме него.

Он стал жить Тамарой, и осень эта была теплой и томительной, непохожей на все осени, какие он до сих пор прожил. Уходил из общежития в город, надеясь встретить Тамару случайно, да случай — дурак, еще отец так говорил, когда искали в тайге женшень.

Тогда он шел за город, в предзимний лес, жег костер, слушал жесткий шорох дубняка и тяжело думал об отце, о братьях и о матери, о ее заброшенной могиле, к которой теперь безбоязненно выходят звери, и так ладно в его думы вплеталась Тамара! Мысленно обходил с ней окрестности Васильевки, и были у них одни воспоминания, одна грусть, ибо ему казалось, что знают они друг друга давным-давно, и это давнее было то ли там, в тайге, то ли здесь, в городе, но все равно было, а значит, и наперед будет, и Тамара теперь так же, как и он о ней, думает о нем, и приятно им до боли нежить и беречь обоим одно и то же.

На шахте он видел Тамару редко и всегда среди людей, а насыпка работала теперь бесперебойно. Но однажды услышал желанное: «Опять насыпка!».

Надо было пойти, да ноги не выдержали, побежали и тут же словно заплулись о брошенное Гореевым:

— Нос не разбей, страдальчик! — и добавил похабщину.

Федя растерянно оглянулся — ему показалось, что Гореев вырвал из него тайное и живое и топчет резиновыми сапогами.

... — Бункер забутился, Федя-а!

«Ага, насыпка», — очнулся и стал клюкой пробивать затор.

— Что с тобой? — тревожилась Тамара. — Весь бледный... На, попей, — совала флагу.

Пил с перерывами, и как хотелось сказать о том, что скопилось в душе, что носить одному было больше нельзя, да такое слово только вместе с языком бы и вырвалось.

В лаве Гореев задержал за плечо:

— Целуется — ммых! — И облизал губы, может быть, и нормальные, но Феде они показались тогда такими большими, что не закрыть их и лопатой.

После второй смены, часа в два ночи, в распадке меж терриконами Федя сошелся с Гореевым. Склоны терриконов горели, свет трепался лоскутами, выхватывая из черноты насторожившуюся в ожидании фигуру Гореева, и Феде почудилось

в ней что-то от быка. «Вот и ладно, — подумал с пугливым желанием. — Теперь хорошо».

Он прорывался к большой голове, бил будто по бетонной крепи. На мгновение терриконы потухали. Федя выплевывал соленые комки, снова кидал себя к большой голове. Потом терриконы потухли надолго.

Тамара сама перед сменой нашла Феде в шахтовом сквере. Сидели: Федя — опустив лицо, все в синяках, Тамара — вполборота к нему. У него перед глазами были Тамарины колени, он отворачивался, и это делало его в ее глазах и вовсе обиженным, вовсе жалким.

— Зачем ты, Федя?.. Он же такой сильный.

— Ты всех боишься.

— Боюсь? А чего мне бояться? — удивил Федею ее уверенный тон.

Федя все же посмотрел на нее и сам испугался — столько перед ним было лишней, ненужной для него красоты. Синий шерстяной платок, синий плащ. Ветер сквозил холодный, но никак не мог сдуть жар с Тамариного лица, и темные глаза отдавали жаром перегоревших в осени кленовых листьев.

— Зачем дрался? Скажешь, нет?

— Он тебя орудоблял.

— Как? — потупилась она. — Ну... что говорил?

— Да-ах...

— Что? — уже требовала.

— Ну... говорил: целуешься...

— Фу, — облегченно вздохнула. — И все?!

Она покачала головой, задумалась, улыбаясь чему-то своему.

— Ну, Миша... Вот хвостун! — как-то ласково удивилась и вспомнила про Федею. — А ты... Зачем тебе это... ввязываться?

Федя догадывался трудно. Догадался-то, вернее, легко, да не мог он эту догадку принять за правду, хоть кричи — не мог! Он торопливо разглядывал ее лицо, будто выискивал эту неправду, и ничего не чувствовал, только боль, боль. А в сердце — никакого опыта, чтобы ее перетерпеть.

— Беднейший! — Тамара воровато оглянулась, мягко охолодила ссадину на его скуле; голова Феде дернулась, как от гореевского удара.

Натянула Тамара ему душу и оборвала, как канат под насыпкой. Теперь только и думал, как жить дальше. Вроде бы совсем забыл, что на шахту пришел вовсе не из-за Тамары, что его сознание и тело приняло работу, сложней и тяжелей которой, может быть, на земле и нету. И заснилась ему Васильевка с тихим дымом над трубами, с лаем собак, с уходящей меж сопков в тайгу дорогой, до восторга зазывной. И застряло в голове: возвращаться туда, иначе смерть. Две потери раздавят, как рудстойку в лаве. И уж соображал, как порушит старый дом, из него поменьше срубит, собак заведет, займется промыслом... А ласковая отборщица породы Елена ввремя угадала, самого ослабевшего, как щенка, подобрала: «Мой будешь».

«Ладно, — подумал, — все равно теперь, чай». В порожней Васильевке не житье — тоже понимал.

Елена на детей щедрой оказалась: туда-сюда, и двое.

— Еще, что ли? — спрашивала деловито и, уловив в его глазах одобрение, мудро предостерегала: — Гляди. Я-то их — хоть сколько... Тебе кормить!

Федя догадался, что, кроме денег, ему и здоровья теперь надолго надо. Лопату — по боку, на курсы комбайнеров направился. На курсах не только техника, но попутно еще: «Как жили и боролись рабочие в царской России». Помощник главного инженера Волков спец был и по горному делу и по этой части. Рыжий, худой, он в первое время, пока не привык к Феде, все нервы себе порвал.

— Понимаешь? — надувал на тощей шее жилы.

— Ну! — Федя все понимал. — Правильно, что боролись.

— Это ответ?! — Волков кусал тонкие губы. — К чертовой тебя бы матери, да горняк ты хороший — учишь.

Учился, и шахта ему стала видиться не тесным подземельем, а чудным живым существом с сердцем-стволом, с туловищем генеральных квершлагов, со щупальцами участков, которые, упруго извиваясь, проникают присосками забоев в пласты угля. Позже, когда заставлял свой комбайн пожирать уголь, на душе было восторженно тихо, как при хорошей летней заре. «Сколько же нас, дураков, с лопатами надо, чтоб вместо него?..» — думал, оглядываясь на переполненный углем конвейер.

Вроде бы все для жизни было теперь у Феде — нечего бога гневить да профсоюзю жаловаться, — а жизнь светила вполне, как подсевший аккумулятор в шахте. Сынишку возьмет на руки и мечтает: «От Тамары бы ты родился!» Иной раз аж стыдно станет от таких мыслей, замет их в себе, задавит, а они опять наружу. Знал, что ждать нечего, но ждал, от себя самого притаивая: будет, кроме детей, у него радость, будет. А годы мало-помалу плыли и эдак мягонько унесли его с собой из молодости в заматерелую зрелость.

От речки низом потянуло ознобистым холодом. Тамара прижалась к Феде, вздрагивая, обвила руками, зашептала в лицо:

— Горячий ты какой! Вот не пушу тебя никуда, будем век сидеть у речки. Будем, а?

«Чего это она расшутилась?»

Обнимает. Мог ли мечтать о таком? А ему нехорошо, что обнимает. С Гореевым всю жизнь вот так. Он душу в узлы вязал, а она обнималась. Приезжала она, забрать хотела... Хотела бы, так забрала.

У Феде обида, может, и была всегда на Тамару, но ненависти — никогда, а сейчас он ее стал и ненавидеть. Нашел ее пальцы, расцепил и руки отвел от себя. Она, притихнув, выждала минуту и медленно отстранилась.

— Ведь любил же, — сказала обиженно. — И теперь любишь.

— Ну и ладно. Тебе-то что?

— Вот! Умеешь говорить, — упрекнула. — Когда надо тебе — говоришь. А тогда сказал хоть слово, а? Все по-другому было бы... Все!

— Не ври, — сорвалось, да не пожалел. Если даже и правдива в чем была — лжи-то больше. Не щепка же в реке, чтоб несло, куда попало? А послушать, так — звало в одну сторону, а правила в другую, нежеланную. Ну и плыви, и дорога тебе туда.

Федя поднялся, отошел к самой воде. В жуткой текучей тьме купались звезды; а взгляд тянуло в бесконечный провал. И самого тоже: вот только оступись и полетишь в холод, в бездну.

И какую-то темную пустоту ощутил он в себе. Был ведь, был до тесноты полон ценным, летучим, что радость давало и муки; да такие, что страшно было подумать, если кончатся. А тут дунуло, выветрило сразу до знона. Вон сидит, белеет сугробинкой — подойди, тронь — она! Но никогда она не была для него такой далекою, как теперь.

Поезд прошебуришал и уснул вдали. Тихо-тихо.

Сыновья теперь спят в казенных койках. И так захотелось пойти к ним, посидеть около, послушать их сон.

И Федя заспешил с места к станционной площадке напрямик.

# Было на Записке...

Начало на 22-й стр.

лично к нему. В то время он сам называл себя старшим прорабом, на строительстве клуба пропадал днями и ночами, и работа здесь шла в две, а то и в три смены — жаркая, как никогда еще до этого на стройке, работа.

Клуб строили рядом с деревянной танцплощадкой, и вечерами, когда там гремел оркестр, девчата-каменщицы покачивались на лесах в такт музыке, а здесь, на площадке, кто-либо из комсомольских штабистов на полноте прерывал вдруг оркестр, и всем, кто был в это время на пятке, предлагалось пойти и поработать на будущем клубе. И шли с радостью и еще как работали — громадный «Комсомолец» вынесли, что называется, на плечах в рекордный срок, построили его за двадцать девять дней. Окруженный пристройками, он и сейчас еще стоит на окраине поселка, как памятник тем далеким дням и памятник ему — первому начальнику стройки.

И сколько еще всего сделал для Антоновской площадки Казарцев! Но вот характер... Уж больно любил он крепкое слово, без него, считал, и работа не работа.

Как-то решили мы дать в многотиражку статью управляющего о положении дел в тресте, и я отправился к нему за материалом. Велел он Нине никого не пускать и часа два, то, расхаживая по кабинету, рубил короткой, тяжелой рукою воздух, а то, опершись широким подбородком на скрещенные ладони, сидел за столом — крупная его седая голова чем-то напоминала львиную — и все рокотал, рокотал густым, как будто чуточку обиженным басом.

Выражений он, прямо надо сказать, не выбирал, но столько в его речи было образного, столько народного, что я сидел, не дыша, и только радовался, едва успевая записать то одно мудреное слово, то другое.

— Строить мы пока не умеем. Головопятия много. И головопята. Я бы и статью так назвал: «Головопята», мол!

Редактор мой по каким-то причинам в это время отсутствовал, одернуть меня было некому, и я старательно сохранил разговорный стиль управляющего: критиковать так критиковать, чего уж там! Вышла газета, и он почти тут же позвонил: зайдика!

— Это что ж ты, сукин ты сын, наделал?! — зарокотало в кабинете. — Кто ж такие статьи пишет?

— Да ведь это все ваше, Николай Трифонович!

— Мое-то мое, но оно для понимания дела было, а не для газеты! — опять он рубил тяжелой рукою, но глаза, казалось, светились лукавством. — Тебя чему учили? За что, сукин кот, в тресте зарплату получаешь?

А я стоял на своем: многотиражка, мол! Газета маленькая, почти семейная. В ней можно.

И он наконец не выдержал, улыбнулся, уже не скрываясь: — Можно, думаешь? Ну, пусть их! Раз головопята и есть.

Пусть хоть немножко в самом деле начальники отстающих управлений почувствуют! Пусть совесть кое-кого прошибет!

А слухи о том, что новый парторг «зачал» управляющего, становились на стройке все настойчивей. Сперва товарищ Казарцев на открытии партийного собрания, отдуваясь и грозно поводя очками, давал объяснение по поводу пятиминутного опоздания. Потом большинством голосов получил на заседании парткома выговор за то, что в горячее для стройки время, никого не предупредив, укатил на охоту и пропадал там целых два дня — один из них был рабочим...

Как-то уже недавно мы с Иваном Григорьевичем вспоминали Казарцева, и Белый сказал:

— Я с ним тогда до-олго в одну машину не садился. Поймите, говорю, Николай Трифонович, мне просто неудобно. Действительно: ну, как так? Управляющий, значит, всякие эти самые слова... а секретарь парткома стоит рядом, ушами хлопает. Хорошая картина! А поправлять вас при всех не могу: стыдно мне, потому что вы старше... До-олго мы вместе не ездили. А потом он как-то: ладно, садись. Слово тебе даю, что ропок на замок. Видишь, говорит, я даже галстук сегодня надел с белой рубашкой... Ну, поехали мы. И он, слушай, выдержал, правда. Ни одного тебе грубого слова. Зато когда в трест вернулись, тут же стащил пиджак. Вот, говорит, где у меня, Иван Григорьевич, эти твои цирлих-манирлих!.. Повернулся ко мне спиной, гляжу, а рубашка у него — хоть выжики.

В то время я, как и многие другие, думал, что просто нашла коса на камень, такие у людей характеры, оттого и хочет Белый поставить на своем, и только много позже стал понимать, что это началось тогда на нашей «партизанской» стройке борьба за дисциплину, за самоуважение, за порядок...

Стучали и стучали колеса, крепчала за окнами вагона зима, и я то думал о предстоящей встрече с друзьями, а то ворошил прошлое и тогда и хмурился и улыбался — всякого было на Записке.

Припомнил, как мы с Володей Ивановым ходили к Белому «за правдой»...

Разворот, которого все так долго ждали, тогда уже начался, работы стало непочатый край, и соревнование из докладов да из речей наконец и правда переключалось на стройплощадку — да еще какое жаркое! Старались и комсомольцы и постройком, мы в редакции тоже не отставали, и один за другим пошли возникать почини, и здесь и там появились маяки, замелькали портреты, зазвучали имена... Бывало, правда, так, что один, предположим, раствор экономить предлагал за счет кирпича, а другой кирпич за счет раствора, но это уже были те самые издержки, которые и в самом деле шли от большого желания поскорее построить гигант черной металлургии — «первенец третьей металлургической базы на востоке страны».

А снабжение материалами было еще не очень, то и дело случались перебои, и, чтобы поддерживать соревнование, в управлениях да на участках поневоле приходилось кого-то обеспечивать получше, а кого-то, выходит, обделять, и отсюда начинались обиды и разгорались страсти.

Однажды в воскресенье ко мне домой — Слава Карижский к тому времени уехал, а мы с Лейбензоном уже обзавелись семьями — пришел Володя Иванов, потоптался у порога, покосился на оттопыренный свой карман, спросил: «С этим — примешь?»

До этого у нас были довольно сложные отношения. Идешь по стройке, только глянешь на то здание, где трудятся Володькины ребята, а бригадир уже громко и повелительно кричит с лесов:

— Гуляй мимо, тут стахановцев нету!

Я уж пробовал по-всякому. И мимо, бывало, «гулять» и на леса поднимался. Станешь говорить: а почему обязательно стахановцы? Разве газета только о них пишет? Если что не так, если какие жалобы — пожалуйста!

А балагурить Иванов был в то время большой мастер, за словом в карман не лез, ребята из бригады смотрят на него, открыв рот, ждут, что он такое скажет, — попробуй ты его тут переспори!

Как-то позвонил в редакцию: «Скорее ко мне с фотоаппаратом, у меня рекорд!» Прибегаю, а вся бригада сидит. Оказывается, кран на другой объект забрали. И так было не только со мной, воевал со всеми, потому и считалось, что Иванов — отпетый демагог, горлопан, глотник.

Я, признаться, думал, что и тут, у меня дома, разговор пойдет все то же про то: почему это у меня изо рта можно взять и отдать другому? Но у Володьки, видно, и в самом деле наболело, заговорил вдруг и о детском доме, вернее, о многих детских домах, потому что часто убежал парень, еще тогда искал справедливости, и о школе ФЗО и о каком-то прорабе, с которым Иванов начал работать и, который обманул его, неопытного, так безжалостно, что молодой бригадир едва ушел от тюрьмы.

— Я и на Антоновскую, думаешь, почему? Все-таки ударная, пишу. Комсомольская! Там, небось, говорю себе, сволочей или совсем нету, или хотя бы поменьше...

Каменщик он был классный, Володя Иванов, бригадир и оборотистый и, где надо, строгий до крайности. Бригада его упорно карабкалась в лучшую, и будь у нее другой вожак, давно бы уже гремела, но тут многое и впрямь упиралось в неуживчивый ивановский характер и в плохую его репутацию, которую, неизвестно отчего, сам он словно старался поддерживать.

Несколько месяцев подряд у Иванова и процент был выше и показатель по экономии, но разве могло такое случиться, чтобы этот приехавший на стройку за длинным рублем халуга обогнал бригаду, которой руководил совершенно иной человек — посланец столичной молодежи? И этому посланцу ночью завезли на объект пару лишних машин кирпича. Будто бы в счет сэкономленного.

Иванова, правда, решили отметить, наградить значком передовика, и кто-то из руководителей управления уже успел шепнуть ему, чтобы на вечер был в новом костюме, но перед самым собранием кто-то другой, просматривавший списки, удивился: Иванов? Да этот при чем тут — он даже не комсомолец!

И вот все значки уже раздали, а его среди награжденных не вызвали... Сидел Володька в зале, и ему казалось, будто все кругом только о том и думают, что вот он, дурак такой, вырядился в новый костюм, даром что глотник, а ему не дали, и правильно!

— Маяк называется! — горячился у меня дома Володька. — А давай так: поставь рядом, каждому по тысяче штук кирпича, и тогда посмотрим, кто раньше да у кого будет стеночка, а у кого — дуля с маком... А то вон что-о! Какой же это маяк, если другому из-за него света не видать?!

И так нам обоим стало обидно, что решили мы тут же идти домой к Белому и выложить ему всю правду-матку. Ему это надо, пусть знает! Молодость — молодость!.. По дороге завернули в «Гастроном» — может быть, жалкие люди, думали, что Иван Григорьевич тоже воспримет «ноль пять» как знак особого доверия?

Закуску он тоже поставил, но пить опять не стал. И в комнате только гул стоял: это мы с бригадиром Ивановым попеременно били себя в грудь, выкладывая эту самую правду...

Несколько дней потом я все ходил, как нашкодивший щенок: когда Белый наконец позвонит? Что скажет?

Я тогда работал редактором, многотиражка уже выходила дважды в неделю, нас в редакции стало пятеро. В «газетный»

день — когда мы сдавали номер — была у нас такая привычка: после обеда полчасика вместе покурить да поразговоривать. И вот выбрал он такую минуту, когда мы тихо-мирно сидели рядом на старом диване да, скинув резиновые, выданные административно-хозяйственной частью сапоги и вытянув ноги, блаженствовали, каждый на двух стульях... Вошел так, как будто забрел к нам случайно, хотя, подумать, было у него когда время на случайный визит?

— Кажется, удачно попал? Гляжу, все в сборе. Что ж это вы, дорогие газетчики? — И когда на лице у последнего сошло это благостное выражение послеобеденной лени, нарочно строго сказал: — Люди говорят, не все так хорошо у наших маяков, как вы тут, слушайте, рисуете... Мы в партком комиссию создаем, которая кое в каких делах должна разобраться, а я просмотрел тут газету: вы все про одного и того же. И проценты и экономия... А что у нас — других бригадиров нету? Я думаю, редактору тут надо сделать выводы.

И посмотрел на часы. И заторопился. Ох, и стыдно мне было «делать выводы»! И долго же пришлось думать! Теперь мне кажется, что и книгу-то «Здравствуй, Галочкин!» написал я после этих раздумий...

Припомнились потом залопытные деньки на первой домне, когда перед пуском, казалось, вся стройка сошлась на крошечном пятке... И все свои, кого давно знал, но уже по году не видел, потому что стройка уже вон как разрослась, и сколько командированных, поприлетавших из Караганды да с Магнитки, и уже вся эксплуатация, и государственная комиссия в полном составе, и ни разу никуда не выезжавшие конторские, приехавшие теперь на уборку территории, и представители министерства с самыми широкими полномочиями... Каких только проблем не родилось в этом ни днем; ни ночью не затихающем человеческом муравейнике! Каких только он не вызвал забот!

И каждый из руководителей стройки разрывался тогда между самыми неотложными делами, каждый был словно белка в колесе.

Как-то во вторую смену я разыскивал на домне знакомых монтажников, которых перебресли с одного узла на другой. Бежал по узенькой металлической лестнице, вывернул из-за поворота и чуть не наскокил на Белого. Привалившись плечом к поручням, он пристроился на верхней ступеньке следующего пролета, и локоть с закатанным рукавом синей сатиновой курточки опирался на согнутое колено, кулак приподнял щеку, и по расслабленному, от всего отрешенному лицу было видно, что человек сладко поддыхает... Кругом скрежетало и взвизгивало, надсадисто стучала кувалда, откуда-то сверху неслышно обрушивались, разбивались о конструкции, неслись дальше огненные струи сварки, а он сидел себе на этой нагретой больше круглосуточной беговой, чем летним солнцем, ступеньке с таким видом, как будто не было для него на земле места уютнее да удобней...

Тронул его за плечо: — Иван Григорьевич!

— А, наконец!

Быстренько поднялся, стал поправлять волосы и только тут всмотрелся:

— Ты? А я думал — комсомольцы. Они тут со знаменем да с цветными где-то ходят, в комсомол принимают... Все приставали ко мне насчет работы для одной матери-одиночки, сегодня опять, да на бегу я от них, слушай, отмахнулся, устраивайте, говорю, сами. А потом спускался тут да подумал: положение у нее вообще-то тяжелое. А эти вдруг раздумают еще раз на меня нажать, а сам змотаюсь... Подниматься вверх не стал, ну его, дай, думаю, тут посижу, не пройду мимо... Сколько ж это я сидел?

То ли такое бывает со всеми, а то ли это особенность нашего ремесла: начнешь вдруг думать все об одном и том же, словно проводишь смотр или ревизию какую устраиваешь всему тому, что хранится у тебя в памяти на какой-либо из дорогих тебе полочек. И чего только тогда отсюда не достанешь: и что-либо важное и какой-то вдруг пустячок...

Однажды в нашем обычном магазине я увидел Розу Каримовну, жену Белого. С кирзовым сапогом на одной ноге она задумчиво сидела на креслице для примерки в мужском отделе. Лаковая туфля, которую она сняла, сиротливо стояла поодаль, а под рукой были еще три пары связанных шпатагом кирзачей — больше, меньше, еще поменьше... Что же это, думаю, за картина?

А она подняла глаза, заметила меня, улыбнулась: — Видите, чем приходится бедной женщине заниматься? Ване некогда, а эти друзья, конечно, с него пример берут: если отец не идет в магазин, и мы не пойдем... На аркане не затащишь. Вот и выбираю сама. Надену на ногу, поболтаю, поболтаю: Ване, пожалуй, хороша будет. А это Володе пойдет. Это Сережке. Это Женке...

А они только смеются: ты сама говорила, что директор школы должен уметь все!

Словно забыв обо мне, тут же посерьезнела, раз и другой трянула маленькой ногой в громадном сапоге и опять словно к чему-то прислушалась...

Странные подчас, но такие знакомые подробности суматошной записовской жизни! И чему-то, будто убедившись, что оно в целостности, я только мельком улыбался, а о другом надолго задумывался, потому что другое это было то общее, о чем мечтали мы в самом начале стройки и чему, пожалуй, уже можно, а то и нужно было подвести итог.

Продолжение следует.

## ДРАМАТУРГИЯ



**Анатолий СОФРОНОВ,**  
делегат XXV съезда КПСС,  
секретарь правления  
СП РСФСР,  
главный редактор  
журнала «Огонек»,  
лауреат Государственных  
премий СССР

Писатель не может, не должен чувствовать себя старым. Жизнь идет вперед. И если писатель вдруг ощутил себя стариком, значит, дела его неважны. И он срочно должен предпринимать какие-то меры, чтобы восстановить связь с окружающим миром, чтобы воспринимать жизнь с той же остротой, что и в юности.

Говоря это, я вспоминаю свой путь в литературу и в литературе. Когда я начинал, мне было лет восемнадцать-девятнадцать. Я работал слесарем, фрезеровщиком на заводе «Ростсельмаш», одновременно был участником литературной группы. Занятия литературой были для меня вторым, но столь же важным жизненным делом, как и работа на заводе.

Мы были тогда, что называется, в самой жизни, и эта жизнь, пройдя сквозь наше сознание, наше сердце, становилась строками рассказов, стихов, которые появлялись на страницах заводской газеты. Потом нас стали печатать в областных изданиях, а по прошествии времени — в Москве. Кстати, в то время издавалась книжная серия под рубрикой «Библиотека «Смены»». И в одной из таких книжечек — она называлась «Рост» — были представлены несколько наших заводских поэтов. В их числе был и я. Это была одна из первых моих публикаций в Москве...

Так начался путь в литературу. Я не хочу сейчас перечислять все трудности писательской работы. Скажу о главном: о том, что определяет для меня ее ценность. На мой взгляд, это верность правде жизни, внимательный взгляд на все ее явления, взгляд, который позволяет увидеть взаимосвязанность, взаимообусловленность всех событий и процессов в жизни общества.

В одном из стихотворений, которое я написал в тридцатом году, есть такие строки:

На моем запыленном лице  
Радость бьетса сквозь бронзу загара.  
Вырос новый громадина-цех  
И раскинулся на три гектара.

По тем временам это было прекрасно: цех уборочных машин, раскинувшийся на три гектара! Когда же я несколько лет назад прочел эти строки в одном из больших цехов автозавода в Тольятти, слова «громадина-цех» вызвали смех... Ведь этот современный цех занимал площадь гектаров в шестьдесят! Те же стихи читал я и на встрече с молодыми рабочими КамАЗа в Набережных Челнах. Реакция была такой же...

Конечно же, я не случайно вспомнил тогда свои старые стихи. Мне хотелось,

чтобы рабочие, слушавшие меня, ощутили, как далеко вперед ушли мы за эти годы...

Легко заметить изменения, происшедшие в экономической структуре нашего общества, в масштабах производства, в его технической оснащенности. Но ведь за эти годы неизмеримо выросло и духовное богатство человека социалистического общества. Значит, в произведениях литературы и искусства должно быть отражено все многообразие духовной жизни советского человека, его нравственные искания. Писатель обязан проникать в сердцевину важнейших событий эпохи, передавать психологию, индивидуальные особенности своих современников. Без этого не может быть правды жизни, правды нашего времени... Каждый молодой рабочий, молодой колхозник, каждый молодой человек нашей страны должен видеть широкие горизонты, которые открываются перед ним. Но он должен и уметь находить правильные ответы на те сложные вопросы, которые ставит жизнь, должен быть идейно вооружен для борьбы с нашими идеологическими противниками. Внести свой вклад в идейно-нравственное воспитание молодых — почетный долг нашей литературы.

Все сказанное в полной мере относится и к одному из моих любимых литературных жанров — к драматургии. Я написал более сорока пьес. Они поставлены в разных городах, в разных театрах, на разных языках. И тем не менее, приступая к каждой новой работе, я всякий раз ощущаю, что словно бы начинаю все заново. Потому что, когда ты приходишь на место действия — не в театр, а в саму жизнь, — ты с первоначальной остротой видишь, где правда, которую ты должен извлечь из действительности, видишь главные проблемы, узнаешь истинных героев современности. Поэтому, как мне кажется, наши драматурги — я имею в виду и себя тоже — обязаны быть в самом центре важнейших событий.

Драматургия — это конфликт, это характеры, это язык... Из этой триады складывается то, что человечество, начиная еще с Древней Греции, именует театром. Люди приходят в театр, чтобы, оставшись один на один с героями спектакля, приблизиться к пониманию той самой драгоценной правды... Поэтому не случаен успех некоторых драматургических произведений последнего времени: в них насущные вопросы ставятся впрямую, а герои говорят своим языком, находя отклик в сердцах зрителей. Успех этот подтверждает справедливость крылатого выражения Александра Николаевича Островского, назвавшего театр «трибуной общественной мысли».

Десятая пятилетка, в которую мы вступили, — это пятилетка качества. В нашей области, в области литературы и искусства, понятие качества подразумевает точное воспроизведение ведущих тенденций времени. Это должны помнить литераторы всех поколений и в особенности молодые, которые только еще начинают свой жизненный путь.



**Одельша АГИШЕВ,**  
заслуженный деятель  
искусств Узбекской ССР,  
лауреат Государственной  
премии имени Хамзы

Молодежная тема органична для творчества входящего в искусство человека. Вполне естественно, что молодые пишут о том, что они знают лучше всего, — о самих себе...

Бывает, однако, что тема эта тревожит художника всю его творческую жизнь, «не отступает» от него никогда. Так, наверняка, случилось с нами — со мной и режиссером Эльмером Ишмухамедовым. Первая часть нашей трилогии «Нежность» вышла почти десять лет назад, последняя — «Встречи и расставания» — совсем недавно.

Меня очень интересует современная молодежь, эти самые семнадцатилетние ребята, которые отделены от нашего поколения двумя десятилетиями. Я часто общаюсь с комсомольскими работниками, вижу, как много они трудятся, но, к сожалению, некоторые из них еще живут старыми понятиями «огонька» и «задора» — того самого аврального метода воспитания. А нынче необходимо еще и другое — найти общий язык с каждым в отдельности. Потому-то вожак, руководитель, воспитатель молодежи должен, просто обязан быть личностью, должен беззаветно любить свое дело, любить эту бесконечную возню с девочками и мальчишками, подростками, юношами и девушками, как любил это дело большой человек и воспитатель, до тонкости изучивший «душеведение», — Сухомлинский.

Бывает, как мне думается, мы недостаточно доверяем молодым и на производстве и в жизни, стараемся отстранить их от всего сложного, ответственного, боясь, чтобы кто-то не «запорол»... Из-за неуверенности воспитывать мы «расписываем» жизнь молодого человека чуть не по часам: десятилетка, армия, институт, женитьба. А где же нравственные искания самого молодого человека, где его самостоятельные решения?

Например, мальчишка решает идти в ПТУ, решает серьезно, а взрослые, которые считают это незрелым бунтом, в приказном порядке возвращают паренка в школу... По-моему же, совершенно необходимо, чтобы молодой человек сделался участником своей судьбы.

А вот еще один вопрос. Некоторые родители запикивают в рот своего «дитяти» клубнику со сливками, а сами не удосуживаются элементарно следить за собой — не лгать, не фальшивить. Ведь даже малейшие наши пороки калечат ребят.

У нас в Узбекистане как-то проходила большая дискуссия: не поздно ли мы начинаем воспитывать детей? По-хорошему начинать формирование «будущего ребенка» надо бы с воспитания тех, кто готовится стать молодыми родителями... Способны ли они так вот сразу, без воспитательной подготовки, стать настоящими отцом и матерью? Ведь талант Песталоцци, Макаренко, Сухомлинского дается не каждому. И надо больше писать на темы воспитания, издавать книги, ставить пьесы, делать фильмы. Это благодарная работа. Когда на наших глазах ребенок становится Человеком — разве это не самая большая награда?!



**Ион ДРУЦЭ,**  
лауреат Государственной  
премии Молдавской ССР

Две девушки сидели на старом байковом одеяле, постеленном на зеленой траве, и пели. Вернее, пела только одна — у другой то ли голоса не было, то ли ветер относил

ее песню в сторону. Зато подруга ее прямо завораживала. Звонкий, низкий голос с удивительными переливами выводит старинную молдавскую песню, и я долго стоял в отдалении, стоял, не шевелясь, потому что рядом творилось волшебство...

Дело было недавно на севере Молдавии, недалеко от деревни Шалвиры. В старинном барском имении, в котором располагается теперь пионерлагерь, шли ремонтные работы, готовились к лету. Трудился тут в основном выпускники школ профессионально-технического обучения, и звонко-голосая девушка, как потом выяснилось, была одной из учениц. И она и подруга ее учились на штукатуров, уже работали, но сегодня был выходной, вот и присели они посреди зеленой лужайки, и разместились вдвоем, и по старинной девичьей привычке запели... Родом они были из средней лесистой части Молдавии, именуемой Кодрами. Та, что пела, не сказала, откуда именно, но кратко сообщила о себе: она кодранка.

К сожалению, робость, которая в крови у наших молдаванок, помешала девушке спеть свою песню еще раз. Сколько мы ее ни уговаривали, сколько она ни старалась потом начать, так и не смогла собраться с духом. Но, расставшись, я вдруг обнаружил, что и на второй и на третий день тот голос и та песня, услышанная крадком, живут во мне, а вместе с ними живут и те места, и тот древний парк, и полуденное солнце мая, и теплое дыхание дальних полей...

Конечно же, судьбы искусства волнуют всех тех, кому дорога духовная жизнь народа, тот нравственный климат, без которого немислимо гармоническое, полноценное развитие человеческой личности... И, хотя у нас много талантливых артистов, уже заявивших о себе в полный голос, много одаренных людей, нашедших себя в других областях творчества, мы не сможем решить всех сложных проблем нравственного воспитания, если уже сегодня, уже сейчас не будем думать о завтрашнем, о послезавтрашнем дне искусства — о нашей смене.

Там, в великом море тружеников, в безымянной среде молодежи, которая только только начала трудный путь обретения своей индивидуальности, там он сегодня встает — и завтрашний и послезавтрашний день нашей культуры. Но сознание того, что смена уже в пути, не должно, однако, нас усыплять. Как говорил один известный ботаник, зеленеющая весной трава — это только малая толика тех семян, которые были брошены в землю. И солнце их грело то же, и те же дожди поливали, но вот поди ты: одни зерна проросли и зазеленели, а другие так и остались лежать в земле. Часто ли мы спрашиваем себя: почему?

Проблема эстетического воспитания молодежи стоит сейчас остро как никогда. Георгий Александрович Товстоногов сказал на одной из встреч: сегодня быть талантливым — этого мало; сегодня, в наше сложное время, могут работать только закаленные, стойкие, самоуправляющиеся таланты, которых ни мелкие неурядицы, ни большие трудности не смогут сбить с истинного пути.

Этой весной, поездив по Молдавии, по родным полям, по деревням, я познакомился со множеством одаренных ребят.

Чистота и содержательность их духовной жизни говорят о том, что они найдут свою тропку, свой путь, преодолеют и робость и неуверенность в себе. Но им нужно помогать, их нужно уже теперь воспитывать красотой, нужно закалять нравственно, готовить к большой жизни, к нелегкому хлебу в высоком искусстве. Толпы поклонников с букетами цветов у театрального подъезда — это только сотая доля айсберга, называемого жизнью в искусстве. Остальные девяносто девять долей находятся там, в глубине, под солеными водами.

...А голос той девушки, которая даже не захотела сообщить свое имя, а просто назвала себя кодранкой, все еще живет во мне.

И теперь, уже волей-неволей, мой слух будет ловить его во всех радио- и телепередачах и глаза будут искать на эстраде, на сцене. И какое-то седьмое чувство говорит мне, что голос тот пробьется в мир и я непременно еще услышу его, и услышат другие...

Александр НИЛИН

# ИСПЫТАНИЕ

Фото Сергея ПЕТРУХИНА

# СОВРЕМЕННОСТЬЮ



**В** недавнем выступлении в печати крупнейший театральный режиссер Георгий Товстоногов обмолвился, что драматургические таланты в литературе крайне редки. Вероятно, такому авторитетному практику сцены можно поверить. Но вместе с тем задаешь вопрос: только ли в чисто литературной одаренности дело? Не в сопряжении ли, весьма сложном и необычном, писательской работы и театральной специфики таятся основные трудности? Ведь именно в драматургии автору приходится самим замыслом произведение вступать на территорию другого искусства. И прежде, чем встретиться со зрительской аудиторией, он должен быть понят мастерами театра. И, значит, драматург не может чувствовать себя вполне самостоятельным и раскованным. Но так ли?

Не самостоятельность ли писательского взгляда и манеры отличает талантливых драматургов? Иначе разве говорили бы: театр Погодина, театр Корнейчука, Розова, Арбузова, Вампилова? И, наоборот, кстати, никогда не приходилось слышать, чтобы в подобном

контексте говорилось о ловких ремесленниках, претендующих на знание театра, его законов и обычаев. Серьезность театра и его задач определяется сотрудничеством с настоящими писателями.

В пьесах, получивших за последнее время большой общественный резонанс, почувствовалось публицистическое начало. Пьесы, открывшие нечто новое в жизни страны, предложили театру и новые пути рассмотрения этого нового на подмостках. Авторы стремились к многоплановому охвату действительности, что, естественно, потребовало от театров и новых сценических форм. Драматурги, принесшие новое содержание, не спешили ограничить себя театральной спецификой — они ждали от театра встречного движения. И в своих ожиданиях не ошиблись. Авторы осознавали за собой моральное право вывести на сцену подлинных героев времени: рабочих, инженеров, руководителей, — поскольку не изучали их специально, как выгодную натуру, но знали их, как себя, и могли, подобно Николаю Погодину, назвать каждого из любимых героев «мой друг». К чести театров, они смело поверили в жизненную

новизну содержания, которую предлагали начинающие драматурги, связанные непосредственно с производством, как инженеры Бокарев или Черных. Больше того, театр уговаривал их активнее пробовать свои силы, поддерживал, подбадривал. Достаточно вспомнить, например, с каким пониманием и доброжелательностью отнесся МХАТ к Бокареву. И теперь в фойе основного здания театра, на стендах, рассказывающих о его гастролях, приведены слова зарубежных критиков о пути Художественного — от чеховской «Чайки» к «Сталеварам».

Сегодня для всей страны один из главных ориентиров, определяющих направление нашего движения, обозначен словом «качество». Слово это, ставшее девизом десятой пятилетки, никогда, разумеется, не снималось с повестки дня. Но сегодня оно произнесено с учетом уровня сознания людей, для которых качество не просто высокий результат проделанной работы, а прежде всего удовлетворение требований нравственного долга. Когда желание быть высоким профессионалом сопряжено с пониманием своего гражданственного предназначения, не иначе.

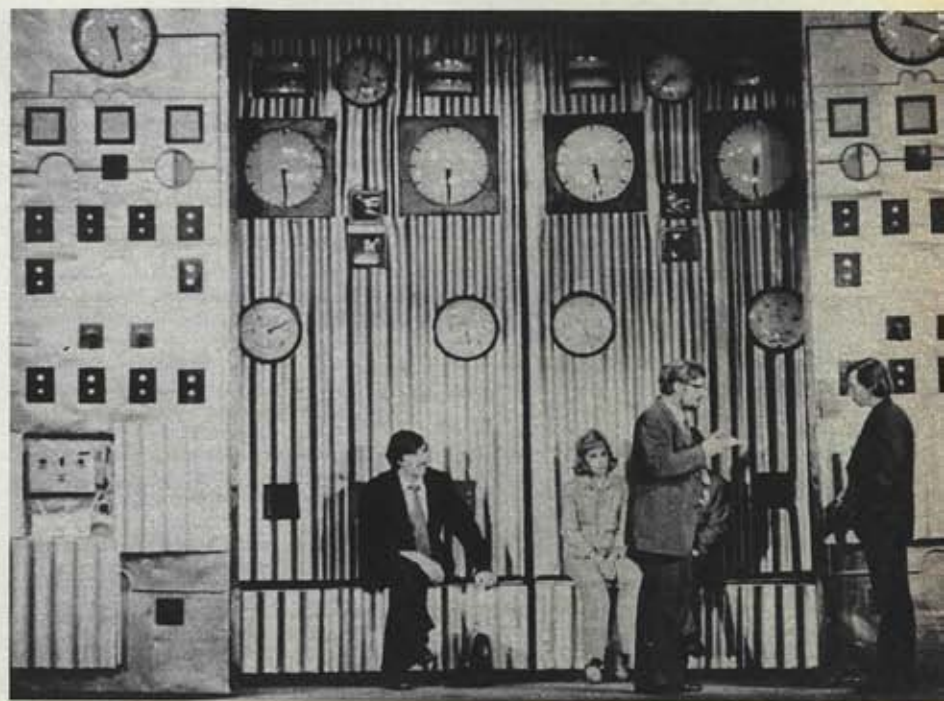
«Порочна система, которая не учитывает человека как личность», — утверждает в пьесе В. Черных «День приезда — день отъезда» ее главный герой психолог Петров. Это авторская позиция, высказанная в достаточной мере публицистично. С другой, может быть, по темпераменту и художественной тональности интонацией она выражена и еще в двух пьесах, поставленных московскими театрами. В «Снятом и назначенном» Я. Волчека (Драматический театр на Малой Бронной) и в «Испытании» Г. Бокарева (Театр имени Станиславского). Пожалуй, мысль,

сформулированная Черных, высказана именно Бокаревым с наиболее очевидной метафоричностью. У него в пьесе автоматика, предложенная двумя инженерами, делает ненужной уникальную квалификацию рабочего — и впрямую ставится вопрос о пересмотре некоторых существенных моментов человеческого сотрудничества в эпоху научно-технической революции. Кстати, метафоричность — бытовая, производственная, служебная — ощутима в названии всех трех пьес, обративших наше внимание рассмотрением деловой проблематики в нравственном аспекте. Это, с одной стороны, поясняет авторский замысел, с другой — требует серьезнейшей психологической обеспеченности выраженных мыслей. Опыт сегодняшнего сотрудничества в деловых сферах, ставший драматургическим материалом, своеобразно соотносится с опытом сотрудничества писателей с театром. И в известной степени — театра и драматурга со зрителем. Узнаваемость событий и лиц, изображаемых на сцене, эмоционально корректируется залом в данном случае более непосредственно, чем кажется тем, кто считает пьесы на производственную тему некассовыми, неходовыми. Правда, узнаваемость — соблазн рискованный. Иногда обманчивый. Бывает ведь: узнали, удивились похожести, правдоподобию — и заскучали. И тут уже театру некого винить, кроме самого себя. После откровенной хроники и телевидения на драматических подмостках нельзя даже прицеливаться из чужого оружия. И все это вроде бы знают и учитывают. Но временами тем не менее исполнение и решение «под документ» снижают впечатление, утомляют, отвлекают от главного. Идея оказывается незащищенной, драматургия — статичной. Практика взаимоотношений сцены и аудитории, досконально знающей обстановку, воспроизведенную в спектакле, говорит в пользу образного театрального мышления.

Интерес театров — имени Моссовета к В. Черных, Станиславского к Г. Бокареву, на Малой Бронной к Я. Волчеку — именно к этим драматургам связан, вероятно, с удачами их предыдущих работ: спектакля «Сталевары» по пьесе Бокарева, фильма «Человек на

**АРТИСТЫ Г. ТАРАТОРКИН И И. САВВИНА В ПЬЕСЕ В. ЧЕРНЫХ «ДЕНЬ ПРИЕЗДА — ДЕНЬ ОТЪЕЗДА».**

**СЦЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ Г. БОКАРЕВА «ИСПЫТАНИЕ».**



своем месте» по сценарию Черных. Театр на Малой Бронной имел опыт сотрудничества с Волчком на пьесе «Загляни в колодец».

Не случилось ли — задумывавшись после спектакля «Снятый и назначенный», поставленного А. Эфросом и Л. Дуровым, — что взаимное доверие друг к другу театра и драматурга несколько снизилось на сей раз ожидаемый от подобного понимания результат? Чего-то — начинаешь подозревать — не потребовал от пьесы театр. Что-то, — уважая самостоятельность автора, предполагаешь — передоверил автор режиссуре и актерам. «Снятый и назначенный» озаглавлена пьеса Я. Волчека. Всеми уважаемого академика Никольского освобождают от должности директора научно-исследовательского института, им организованного и выстроенного. Вместо него в институт приходит тридцатилетний доктор наук Пажлаков — единственный из кандидатов на место академика, принявший предложение руководящих инстанций. Новый директор из другого города — в некотором роде модификация «Человека со стороны». Модификация отчасти полемическая. Мысль пьесы: снятие и назначение директора, перемещение по служ-

ла — двоянный, выражаясь по-футбольному, центр в руководстве или единовластие? Нет, наверное. Но два центральных характера сами по себе настолько интересны и так нечасто встречаются на подмостках в ситуации противостояния, что размышления, их поступками и словами вызываемые, дают определенную компенсацию за авторскую недоговоренность. Характеры эти нашли и великолепных исполнителей. Пажлакова играет Л. Дуров, Никольского — Л. Бронева. Жанр, в котором выступают на этот раз Дуров и Бронева, я решился бы назвать диспутом на современные темы с бытовым комментарием, где заняты и другие действующие лица пьесы. В комментариях обнаружилось и возможности, положениями пьесы почему-то пропущенные. При отсутствии в спектакле достаточно мотивированной лирической линии О. Яковлева в роли дочери Никольского Ксении все же сумела открыть прекрасный женский характер. В этом заслуга верно расставившего исполнительские силы театра, где знают, что появление и присутствие на сцене таланта Яковлевой заставляет искать в спектакле человека, любящего ее или ею любимого.

Дуров и Бронева равно убедитель-

ны и назначенном». Вернее, Черных находит Чешкову продолжение во времени и психологии. Кому-то поначалу Петров, может быть, и напоминает «человека со стороны». Но суть пьесы в том, что Петров не приходит, а возвращается в знакомую и, как оказывается, родную ему, родственную по духу и социально среде, оснащенный новым знанием. День отъезда отменяется — Петров решительно изменяет личную свою судьбу, связывает свое будущее с заводом, им исследованным. Он на практике готов проверить подготовленные им рекомендации. Здесь существенна лирическая линия во взаимоотношениях героев — она необходима для проявления характеров, нужна и в социальном аспекте и прослежена драматургом не без драматизма, вызванного известной смелостью и непривычностью психологических мотивировок. Но вот ведь в чем сложность современной и притом проблемной драматургии: надуманным может показаться и самое что ни на есть реальное. Выдвигая действительные идеи спорящие в сегодняшнем производстве, на стаявая на публицистике, уместной в производственном конфликте, в центре которого человек труда — и руководимый и руководя-

того вести, в свою очередь, трудную защиту авторской позиции, в которой Театр Моссовета поддержал его в меру своих — очень немалых и умело организованных — сил. В постановочной щедрой раскованности — спектакль поставлен Ю. Завадским и П. Хомским — театр азартно доказывает, что кинематографически динамичная компоновка эпизодов вполне возможна и на подмостках.

Публика очень хорошо принимает исполнителей центральных ролей И. Саввину, Г. Тараторкина, Л. Наумкину, Л. Шалошникову. Исполнение Тараторкиным роли главного героя Петрова многие называют блестящим. Не гурманством ли неоправданным будет наша одна-единственная претензия к нему? Можно бы и не предвзвешивать ее, но Тараторкин — артист не только известный. Он авторитетен и будет, без сомнения, влиять на актеров, занятых в пьесах, сходных по теме, на актеров, не имеющих ни популярности Тараторкина, ни замечательных его данных и подкупающей индивидуальности. Петрова Тараторкин играет с концертным блеском, расщепляя материал роли, особенно текст в ударных и выигрышных его репликах, многими находками, демонстрирующими редкую его техническую раскрепощенность. Вклад Тараторкина в удачу спектакля вполне отвечает репутации артиста. Но было в старину такое выражение — «создавать тип»...

В задаче, поставленной театром и автором, интересен и необходим как раз психологический и социальный тип характера, сразу бы усиливший реальность происходящего. Материал для такого, мы понимаем, нелегкого и редкого, в чем-то и мучительного для артиста эксперимента есть в упомянутой в пьесе биографии героя, как раз заземленной социально. Мимо этой заземленности Тараторкин прошел и создал образ, неотразимый для определенной части публики, но к нашему знанию человеческой природы людей, ставших героями НТР, ничего не прибавляющий. Саввиной и Наумкиной такой претензии не сделаешь. Мы готовы допустить, что Саввина об этом и не задумывалась специально — в ее таланте социальная генетика изначально. И в «Дне приезда — дне отъезда» она женщина, закономерно имеющая жизненный успех, но личного счастья все-таки не достигшая по причинам, одной пьесой и одной ролью необъяснимым. Однако тип женского характера с чертами, точно соотнесенными со временем, присутствует, интригует понятностью. Зовет на помощь — и не знаешь, как и чем ему сейчас помочь...

«Испытание» — драма в двух действиях, одно из которых происходит в цехе, где работает наладчик Дымшаков и где внедряется изобретение инженеров Юсупова и Ряшенцева, а другое действие — на заводской даче, где разместили для занятий изобретателей. Дымшакова играет В. Бочкарев, Юсупова — Д. Гаврилов, Ряшенцева — В. Анисько. Снова нравственный аспект. Объединенные работой над нужным производству предложением, Юсупов и Ряшенцев, оказывается, совсем по-разному смотрят на вещи. Ряшенцева занимает исключительно судьба внедряемого аппарата, Юсупова — судьба человека — Дымшакова. Люди равного по перспективам роста неодинаково переносят высоту. Что это — признаки головокружения или расширения кругозора? Ощущение свободного и сугубо личного полета или серьезность и озабоченность жизнью окружающих, возникающая от широты взгляда? Возможно ли движение к нравственности вне соединения технического таланта с человеческим? Правомерность всех рассмотренных театром проблем в спектакле по пьесе Бочкарева ни у кого не вызывает сомнений.

Итак, мы рассмотрели три постановки в трех московских театрах. Каждая из них ставит проблемы, подсказанные сегодняшним днем; днем десятой пятилетки. Художническая зоркость всех создателей этих спектаклей — от драматургов до исполнителей — подарила нам, зрителям, возможность увидеть на театральных подмостках людей труда, живой образ действительности, увидеть в неповторимой и прекрасной взаимосвязанности государственных, деловых и нравственных проблем. И в этом — одна из очень важных особенностей современного театра, который, уловив самые важные, самые жгучие вопросы, волнующие общество сегодня, решает их во всеоружии аналитической мысли и вдохновенного артистического чувства.



бе — процесс не механический. Он диктуется необходимостями реальной научной жизни: Пажлаков обязан доказать, что не только не хуже, но и лучше в современном контексте, чем Никольский. Притом, что оба настоящие, талантливые ученые и люди, по своим нравственным качествам заслуживающие всеобщего уважения. Преимущество, по мнению автора и согласившихся с ним, будем считать, постановщиков, Пажлакова перед Никольским определяется его молодой силой и энергией, необходимыми для решения новых научных задач. Перемена руководства, стало быть, в интересах дела, которому служат оба. Сюжет пьесы напряжен ситуацией, житейски очень понятной, вызывающей аналогии и в далеких от науки областях. Бывший директор, может остаться в институте на более скромных ролях. Уйти ему из дела, им организованного, нелегко. Да и потеря такого влиятельного в науке человека не радует сотрудников. И Пажлаков принимает мужественное решение — предложить академику сотрудничество на важном участке исследовательской работы. Но академик принимает не менее мужественное и благородное решение — уйти из института, чтобы не мешать Пажлакову осуществлять свои начинания. Отвечает ли пьеса законченностью драматургического материала на вопрос: что лучше для пользы де-

ны — один в той взрослости, за которой углубляется движение к нравственности, другой — в блеске интеллекта, в понимании себя и мира вокруг, в осенней зоркости взгляда. Они оба — люди научного дела. И знают: дело иногда бывает умнее их, мудрее, таит опыт поколений, перед которыми оба они молоды. В этом родство этих совершенно разных людей, способных, как и положено ученым, на подвиг мысли, пусть и жестокой по отношению к ним самим.

Спектакль «Снятый и назначенный» выстроен очень уверенно и элегантно на почве, в общем, твердо утоптанной. Но есть и повод представить себе, что с освоенной почвы режиссура кинула и примерочный взгляд на территории, не тронутые привычными постановочными решениями.

Герой пьесы «День приезда — день отъезда» — психолог, командированный вместе с инженером-социологом на завод для социальных исследований. Рекомендации, разработанные ими для производства в ходе этих исследований, несут перемены и беспокойство в налаженности заводских порядков. И, разумеется, встречают аргументированное противодействие. Опять модификация Чешкова из «Человека со стороны»? Только на первый взгляд. В пьесе Черных полемика с пьесой Дворецкого по серьезнее, чем в «Сня-

#### **«СНЯТЫЙ И НАЗНАЧЕННЫЙ» Я. ВОЛЧЕКА. В РОЛЯХ АКАДЕМИКА НИКОЛЬСКОГО — Л. БРОНЕВОЙ, ДОКТОРА НАУК ПАЖЛАКОВА — Л. ДУРОВА.**

щий, — автор сталкивается со значительными трудностями, показывая мир чувств героев. Автора легко обвинить в произвольном соединении судеб персонажей ради занимательности действия; счесть лирику мотивом чуть ли не зрелищно конъюнктурным, данью традициям в пьесе, претендующей на постановку и решение вопросов организации современного производства. К чести автора пьесы «День приезда — день отъезда», он не испугался возможных упреков, пошел на соединение, сплетение мотивов лирических и социальных. Разрешает герою предпочесть местную работницу Таню инженеру-социологу Ольге. Черных не боится быть тенденциозным — в жанре, избранном им для «Дня приезда — дня отъезда», он и не может оказаться иным. Возможно, легче и написать и смотреть чисто любовную драму или чисто производственную хронику — у пьесы, между прочим, подзаголовок: хроника одной командировки. Но Черных пошел по пути более трудного соединения нравственных аспектов и принужден был от-





1

Прошло уже почти десять лет с тех пор, как Псковская гимназия отпраздновала свой 180-летний юбилей. В Псков были приглашены воспитанники этой бывшей гимназии, теперь школы,—ученые, писатели, художники и по просьбе директора дали урок старшим школьникам.

Я позавидовал всем, кому предстояло дать эти уроки, потому что не мог присутствовать на торжестве. А мне хотелось рассказать о том, как в Псковской гимназии меня когда-то—был я еще совсем мальчиком—научили любить литературу. Сделал это Владимир Иванович Попов. Кстати, он же был любимым учителем Юрия Николаевича Тынянова, а Тынянов, в свою очередь, был моим учителем и другом.

Попов не заставлял нас учить литературу по учебнику. Он учил нас литературой. Он умел связывать литературу с жизнью, и литература представлялась нам живой, необыкновенной, полной тех чувств и ощущений, которые всеми нами тогда владели. Сохранились сочинения его учеников. И в этих сочинениях, как в зеркале, видна та нравственная сторона преподавания, тот высокий уровень, который был задан этим выдающимся и очень скромным педагогом.

Одно из сочинений Тынянова сохранилось у его школьного друга, известного ученого, действительного члена Академии медицинских наук Августа Андреевича Летавета. Называется оно—кстати, название звучит очень современно—«Жизнь хороша, когда мы в ней необходимое звено».

Вот несколько цитат.

«С тех пор, как движется в заколдованном круге неразрывная цепь человеческого бытия, было замечено: рука об руку идут все люди, кто бы то ни был, принц или нищий, и часто жизнь нищего влияет больше на судьбу короля, чем жизнь придворного; и у этой живой человеческой цепи есть свои законы: если цепь движется с бешеной быстротой, и мелькают огни, и в бестолковой суете плещут и толкуются люди, то каждый должен бежать; и если живая цепь, как змея, подвигается вперед со страшной медлительностью, если человечество ползает на четвереньках,—каждый должен ползти.

И давно уже появились среди этой толпы люди со слишком глубокими, слишком ясными глазами, которые не хотят плясать страшный танец жизненной бестолочи и не хотят пресмыкаться, когда пресмыкаются другие.

И людская цепь уносится далеко-далеко, тогда как безумец один—смотрит на звезды. Первым задумался над этим человеком Шекспир и назвал его Гамлетом, принцем датским. И с тех пор в цепи бытия кровь Гамлета передается от рода к роду, и последние потомки его названы страшным именем «лишних людей».

«У моря сердитого, у моря полночного юноша бледный стоит» (Гейне); и вот думает он уже много веков над тем, как «разрешить старую, полную муки загадку»: кто это—Жизнь? Для чего она? «И кто живет там, над золотыми звездами?» И если мы всмотримся в лицо этого юноши, нас поразит странное его несходство со средним человеческим лицом; это лицо Гейне, и лицо Лермонтова, и лицо Гамсуна, это лицо Гамлета; и вместе с этой странной отличностью от обычного человеческого лица нас поразит его высшая человеческая красота—намеки на нечто совсем иное, гордое и прекрасное, чему нет имени в нашей жизни.

Пора ныне понять, что все, что остается за бортом реальной жизни,—эти чужестранцы, эти святые бродяги земли,—они лишние для действительности, но они необходимые звенья той жизни, к которой они приближают человечество, может быть, одним своим появлением».

Это сочинение Тынянов написал в 1911 году, когда ему было 16 лет. За год до окончания гимназии...

2

Наш учитель понимал, что в мире не существует более сильного и прекрасного средства, чем литература, чтобы заставить людей прямо смотреть друг другу в глаза.

Все это относилось к нравственной стороне его преподавания. Но была и другая. На уроках Владимира Ивановича для меня впервые открылась соотношение между литературой и жизнью. В Никольские толстовского «Детства» я узнавал себя. Я ехал с Олениным на Кавказ. Мой отец служил в Омском пехотном полку, и среди офицеров я искал Вершинина и Тузенбаха, а среди гимназистов Гарина-Михайловского—своих товарищей по классу. В провинциальном городе, битком набитом реалистами, семинаристами, студентами учительского института, постоянно спорили о Горьком, Леониде Андрееве, Куприне. Спорили и мы—по-детски, но с чувством

значительности, поднимавшим нас в собственных глазах.

Преподавание литературы, в котором были заложены начала свободного ее изучения, возвращало к прочитанному охотой, а не силой. Ничего окаменелого не было для нас в Лермонтове, в Гоголе и, уж конечно, в Льве Толстом, смерть которого—за два года до моего поступления в гимназию—я помню прекрасно. Мы занимались литературой продолжаясь, в которой никто не превращался в свое собственное бронзовое или каменное изваяние.

Конечно, русская литература открылась для меня не только на уроках Владимира Ивановича Попова. Нельзя сказать, чтобы у нас был книжный дом,—семья была военная. Но старший брат, на всю жизнь оставшийся близким другом Юрия Тынянова, любил литературу, и у него была библиотека, помещавшаяся в большом книжном шкафу. Правда, доступа к этой библиотеке у меня не было, но однажды, в то время, когда брат был в отъезде, в Петербурге, случайность помогла мне проникнуть в книжный шкаф. Домашняя работница нечаянно разбила стекла—и передо мной открылся целый мир: Чехов, Тургенев, Гончаров, Ибсен, Гамсун...

Именно благодаря тому, что в своем ненасытном чтении я читал не отдельные романы, а целые собрания сочинений, от первого до последнего тома, образы авторов стали возникать передо мной с удивительной определенностью и силой.

Вениамин КАВЕРИН

# БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫТИЙ

Тургенев—это был для меня летний день на каникулах, когда, не расставаясь с книгой, можно успеть так много. Это ловля пескарей где-нибудь за городом. Это долгое, интересное купание на Великой, когда можно нырять с мола и плыть поперек волны. Это гимназическая куртка, накиннутая на голое тело, потому что стоит ли одеваться, чтобы сбежать домой за парой котлет и горбушкой посоленного хлеба...

Это Рудин, из-за которого я чуть не утонул. Потрясенный тем, что в конце романа он должен ехать в Пензу, но соглашается ехать в Тамбов только потому, что в Пензу нет лошадей, я задумался, заплыл очень далеко и, кое-как добравшись до противоположного берега, рухнул на песок, задохнувшись, с обмякшими руками и ногами...

В этом внутренне связанном чтении мне всегда слышалось что-то музыкальное—взлеты громкости, повторение мелодии, чувство времени, которое у каждого писателя было своим. Тургенев был медленен, его короткие романы казались длинными. У Гончарова длинноты превращались в протяженность, которую не хотелось читать. Достоевский был быстр, стремителен, энергичен, требователен, зол. Он заставлял читателя надолго останавливаться там, где это было для него необходимо, чтобы снова обрушиться на него серией немыслимых, скандальных ударов

3

В беспредельности новых и новых открытий, в раскате невероятных происшествий я впервые почувствовал себя не чеховским Чечевичным, не гимназистом, мечтавшим убежать в пампасы, а истинным читателем, то есть человеком, который в долгожданный час останется наедине с книгой. Этому научил меня Роберт Льюис Стивенсон, отстранив десятки других иностранных писателей с их привлекательными и все-таки почти ничего не значившими именами. У нас знают Стивенсона главным образом по его роману «Остров сокровищ». Об этой книге надо упомянуть, потому что Стивенсон трогательно сказался не только в ней, но и в ее героях. Для своего тринадцатилетнего пасынка (впоследствии известного писателя) Ллойда Осборна он нарисовал карту с пиратскими мальчишескими названиями: «Холм Бизань-мачты», «Остров Скелета»,—а потом от имени такого же мальчика, как его пасынок, написал роман—пространный комментарий к этой загадочной карте. Однако те, кто прочитал только «Остров сокровищ», не знают Стивенсона. Он был первоклассным критиком, эссеистом, очеркистом и драматургом. Многие его произведения не вошли ни в старое собрание сочинений (1913—1914 гг.), ни в новое издание.

Книги Стивенсона (за немногим исключением) написаны в энергичном ритме, отражающем завидный лаконизм английской речи. Но если бы он написал одну только «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда», в которой идея раздвоения личности выражена с простотой школьной арифметической задачи, он и тогда остался бы в мировой литературе как художник, предсказавший существенные черты литературы XX века.

Но вернемся к детскому чтению. Почему в его неудержимом разбеге меня остановил Стивенсон? Потому что я впервые почувствовал обязывающую серьезность автора по отношению к тому, что происходит с героями. Мне удалось нащупать его нравственную позицию, раскрывающуюся медленно, шаг за шагом. И я увидел автора, ощутил силу его власти, направление его ума, преследующего определенную цель.

К «Острову сокровищ» был приложен портрет Стивенсона, и в тумане головокружительного чтения мне долго мерещился молодой человек с распадающейся как-то по-женски шевелюрой, усатый, сидящий за столом, держащий перо в узкой руке, с нежными, требовательными чахоточными глазами. Он мог быть другим. Но именно он, и никто другой, открыл передо мной таинственную силу сцепления слов, рождающего чудо искусства.

4

Диккенс навсегда связался в памяти с первой в моей жизни библиотекой. В большой комнате на втором этаже деревянного дома—длинные столы, над которыми висят керосиновые лампы—«молнии» с пузатыми стеклами... За барьером—дама в черном платье с белым воротничком. Она негромко спрашивает, что мне угодно, и, усомнившись в моем праве на абонемент (я был лишь немного выше барьера), все же выдает мне книгу «Давид Копперфильд». Я нахожу свободное место, раскрываю книгу—и не могу читать. Я поражен.

В городе еще позвякивают звоночками двери магазинов, плетутся извозчики, цокают по булыжнику копыта. На Сергиевской, как всегда, по вечерам,—гулянье: гимназисты гуляют с гимназистками по правой стороне улицы. Шумят, перебрасываются шутками, смеются.

А здесь, в библиотеке, в полной тишине слышен только шелест перевертываемых страниц. Здесь читают. Я читаю.

Магический диккенсовский мир навсегда связался в моем сознании с ошеломившей меня серьезностью чтения. Впервые я увидел себя со стороны. Да, мы такие же, как все, но еще и другие. Мы особенные. Мы читатели. Мы читаем.

5

В 1918 году Псков был занят немецкими войсками. Случилось так, что Псковский городской Совет перед тем, как уйти из города, поручил гимназистам—тем, которым он доверял, конечно (я был тогда в шестом классе),—заняться библиотекой городского Совета. Так в мои руки попал Герцен. Это было событием, которое многое определило в моей жизни.

Я и теперь время от времени кладу на ночной столик какой-нибудь том Герцена и читаю его медленно, внимательно. Вот кто не рассказывал, а доказывал, не верил и верил, убеждал и спорил. А это чувство собеседника, это требование ответной искренности, свободы! Эта необъятность знаний, находящихся в постоянном движении!

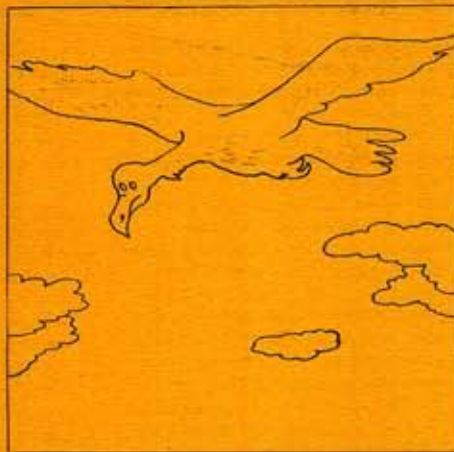
Так с юных лет постепенно развивалось во мне то, что можно назвать «книжным сознанием».

Мир книги всегда сопровождал меня и, конечно,



Рисунки

Леонида ИШКОВА,  
Олега ЕСЛЕРА,  
Сергея ЮНИНА



6

имел решающее значение в том, что я сделался писателем. Постепенно, год за годом, я стал не только читать, но изучать литературу.

В самом начале двадцатых годов, когда я почти одновременно поступил в два высших учебных заведения, в Петроградский университет и в Институт восточных языков,— вот когда пригодился мне уже немалый опыт внимательного чтения. Мои близкие друзья—Н. Тихонов, М. Зощенко—упрекали меня в том, что я так погружен в книги и пишу поэтому произведения фантастические, отвлеченные и далекие от жизни: «Вокруг происходят совершенно необычайные, в высшей степени интересные события, а ты ничего не хочешь ни видеть, ни слышать». Они ошибались: впоследствии выяснилось, что моя книжная жизнь и мои занятия (очень усиленные, в особенности в университете) сами по себе оказались тоже материалом для моих будущих литературных произведений.

Однако в тридцатом году я решил покинуть свою заваленную книгами комнату и выехал в просторы Сальских степей. То, что я увидел, поразило меня. Я написал книгу «Пролог» (путевые рассказы)—о совхозах. Я был на Днепрострое, в Магнитогорске. Одним словом, увлекся реальной жизнью того времени с не меньшим азартом, чем до тех пор увлекался книжной.

Но многолетнее чтение помогло мне и тут. Помогло войти в изучение современной жизни уже в какой-то мере вооруженным пониманием того, как надо писать.

Много лет я учился писать. Можно смело сказать, что и до сих пор я учусь писать, потому что каждая новая моя книга—это для меня все-таки в какой-то степени лаборатория, в которой я пытаюсь создать нечто новое и для себя самого. И в этом смысле мне бесконечно помогает опыт классической литературы, недооцененный, с моей точки зрения, в нашей современной прозе.

Так, перечитывая «Кроткую» Достоевского, я понял, с какой исчерпывающей полнотой была открыта им форма внутреннего монолога.

В этом рассказе сам автор—редкий случай!—раскрывает в предисловии «фантастичность» стиля, основанного на внутренней речи. «Конечно,—пишет он,—процесс рассказа продолжается несколько часов, с урывками и промежутками, и в форме сбивчивой: то он (герой рассказа) говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности! Если бы мог подслушать его и все записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шершавее, необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем все стенографе... и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим».

Нет никаких сомнений в том, что понимание классической литературы, понимание всей тонкости психологического рисунка, которое я наблюдал в романах,

скажем, Толстого или Достоевского, как бы подготовило меня к пониманию современности. Понять настоящее без глубокого понимания прошлого почти невозможно.

Почему в годы войны вся страна кинулась читать «Войну и мир»? Ведь, казалось бы, война другая, люди другие... Потому что, читая «Войну и мир», мы жили и настоящим нашей Родины и одновременно ее прошлым. Потому что мы не только понимали то, что происходит в наше время, но понимали, что мы должны победить, не можем не победить. Именно это необыкновенное ощущение веры в себя, которое вовсе не было у Толстого написано впрямую, сопутствовало нашему сознанию.

Вдова маршала Толбухина рассказывала мне, что во время одного решающего наступления он по всем деревням искал «Войну и мир». Наконец одна пожилая женщина, мать погибшей партизанки, подарила ему эту книгу—последнюю память о дочери. И Толбухин читал и перечитывал в походе Толстого. Так великое прошлое превращается в оружие для достижения великой цели.

Я прошу вас отвлечься от того, что автор этих заметок—писатель, человек, в жизни которого книга должна играть повелительную роль. Книга—это почти всегда начало той глубокой, иногда продолжающейся всю жизнь интеллектуальной работы, которая сопровождает, в сущности говоря, любую профессию. Потому что книга—это оружие художественного познания жизни.

Наш адрес: 101457, ГСП, Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Телефон для справок: 253-30-87. Рукописи, фото и рисунки не возвращаются.

Сдано в набор 4/У 1976 г. А 00914. Подписано к печати 18/У 1976 г. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Усл. печ. л. 5,60. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 1200000 экз. Изд. № 1300. Заказ № 2211. Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865. Москва, А-47, ГСП, улица «Правды», 24.

ШИРОКО.

# Малая Земля

Песня — лауреат телевизионного конкурса «Песня-75»

Слова Николая ДОБРОНРАВОВА

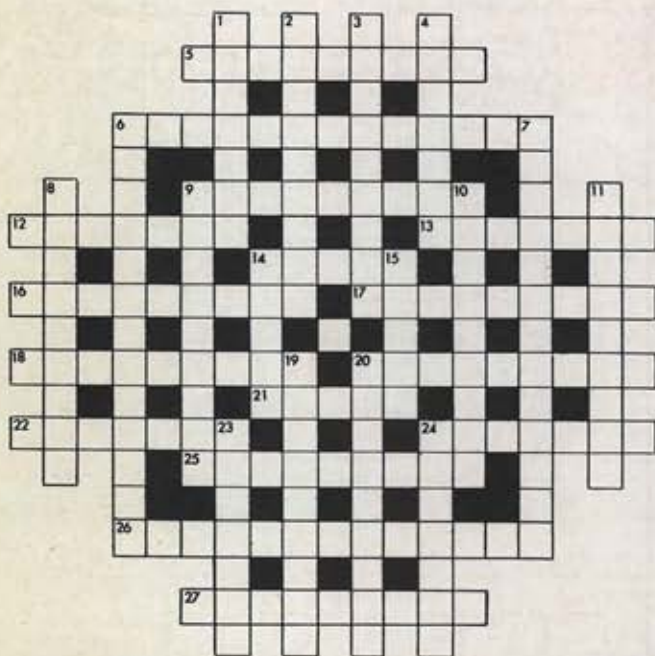
Музыка Александры ПАХМУТОВОЙ

*Малая Земля. Кровавая заря.  
Яростный десант. Сердце литая твердь.  
Малая Земля — героическая земля,  
Братство презиравших смерть.*

*Малая Земля. Гвардейская семья.  
Южная звезда Надежды и Любви...  
Малая Земля — российская земля,  
Бой во имя всей земли!*

*Малая Земля. Здесь кровь и честь моя.  
Здесь мы не смогли, не смели отступить.  
Малая Земля — священная земля,  
Ты — моя вторая мать.*

*Малая Земля. Товарищи, друзья...  
Вновь стучит в сердца тот яростный прибор.  
Малая Земля — великая земля.  
Вечный путь — из боя в бой!*



## КРОССВОРД

Составил Б. ВАСИЛЬЕВ,  
г. Москва

По горизонтали:

5. Марка советского автомобиля. 6. Линия, образующая прямой угол при пересечении с другой прямой или плоскостью. 9. Целлюлоза. 12. Птица семейства утиных. 13. Государство в Европе. 14. Лучшие экземпляры растений, ценные племенные животные. 16. Город в Татарии. 17. Научные основы сельского хо-

зяйства. 18. Разновидность хвойного леса. 20. Устройство для управления самолетом. 21. Ценный пушной зверек. 22. Декоративный кустарник. 24. Представительница коренного населения союзной советской республики. 25. Приток Северного Донца. 26. Одаренность. 27. Город в Свердловской области.

По вертикали:

1. Напильник с крупной насечкой. 2. Сельскохозяйственная уборочная машина. 3. Главенствующая идея, принцип. 4. Поэма Н. А. Некрасова. 6. Врач. 7. Способность вещества образовывать в соединении с жидкостью однородную смесь. 8. Группа островов. 9. Травянистое растение семейства крестоцветных, народное лекарственное средство. 10. Самоуправление в

пределах государства. 11. Вид пересадки всходов растений. 14. Представитель коренного населения Древней Греции. 15. Южное декоративное растение. 19. Предводитель дружины в средневековой Италии. 20. Областной центр в Казахстане. 23. Один из первых руководителей дальневосточной большевистской организации. 24. Специалист в сельском хозяйстве.

ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД,  
НАПЕЧАТАННЫЙ  
В № 11

По горизонтали:

4. Такелаж. 9. Фибролит. 11. Диктофон. 13. Арена. 14. «Опричник». 15. Радиатор. 16. Атлас. 18. «Арсенал». 20. Фасад. 21. Генератор. 22. Пантограф. 24. Минск. 26. Актриса. 29. Ампер. 33. Барбарис. 34. Норильск. 35. Танго. 36. Миллибар. 37. Пашенная. 38. Аммонит.

По вертикали:

1. «Пахтакор». 2. Менделеев. 3. Байдарка. 5. Диспетчеризация. 6. Орбита. 7. Соната. 8. Новолазаревская. 10. Лена. 12. Кедр. 17. Сурик. 18. Астра. 19. Линза. 20. Флора. 23. Красноярск. 25. Соболь. 27. Кострома. 28. Синоптик. 30. Малина. 31. Краб. 32. Грош.



## ВСЕ СУЩЕЕ ОДУШЕВИВ...

В феврале—марте нынешнего года в Центральном выставочном зале проходила выставка «Слава труду», посвященная XXV съезду КПСС. Авторы работ—живописцы, графики, скульпторы, прикладники из всех наших республик, которые все вместе сумели создать единое развернутое повествование о советских людях, их делах и мечтах.

Академик Э. Окас из Таллина представил «Портрет сына». На экспрессивном живописном фоне возвышаются причудливые, почти фантастические корпуса будущих зданий, существующие пока только лишь в воображении молодого архитектора. Окас передал момент напряженного творческого раздумья.

В картине же бакинца М. Аббасова мы видим реальное воплощение творческого замысла непосредственно на строительной площадке. Художник избегает тщательной детализации, образы монтажников предельно обобщены, с тем, вероятно, чтобы показать: в этой стройке участвуют не только герои, запечатленные на полотне, но и весь народ...

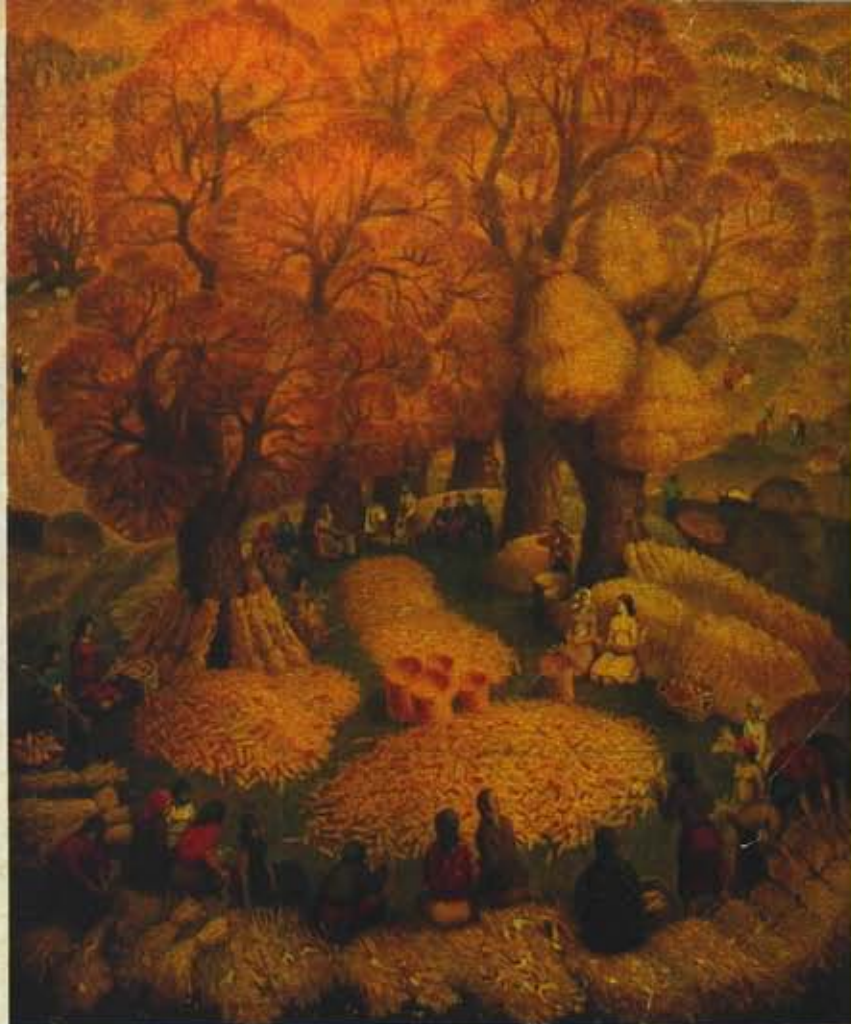
Подобным стремлением к обобщению отличаются и такие непохожие картины, как, скажем, «Сельский труд» тбилисца Б. Челидзе и «На полях Латвии» академика Э. Илтнера из Риги. В картине Б. Челидзе ощутима праздничная, приподнятая атмосфера осеннего сбора урожая. Иначе эту тему

Алексей  
КОРЗУХИН

раскрывает Э. Илтнер. На его полотне в мир расцветающей весенней природы органически вписались сверкающие яркой краской тракторы, плуги, сенокосилки...

«Чистых» пейзажей на выставке было сравнительно мало. Как правило, они включали в себя жанровые сцены. В этом смысле характерны полотна К. Добрайса из Даугавпилса «Газопровод Азия—Центр»: раскаленная пустыня, сквозь которую по воле человека уже протянулась нить газопровода, и ленинградца С. Яковчука «Апельсины...»—далекий таежный поселок, телевизионные антенны, светящиеся окна домов, спешащие люди...

Когда-то Александр Блок так определил задачу художника: «Все сущее—вочеловечить...» К этой возвышенной цели стремились участники Всесоюзной выставки. И, как нам кажется, достигли на этом пути значительных успехов.



Б. ЧЕЛИДЗЕ. СЕЛЬСКИЙ ТРУД.



Э. ИЛТНЕР. НА ПОЛЯХ ЛАТВИИ.



Э. УМАРБЕКОВ. МОЕ ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ.

Г. НЕЛЕДОВА. МАСТЕРА.

